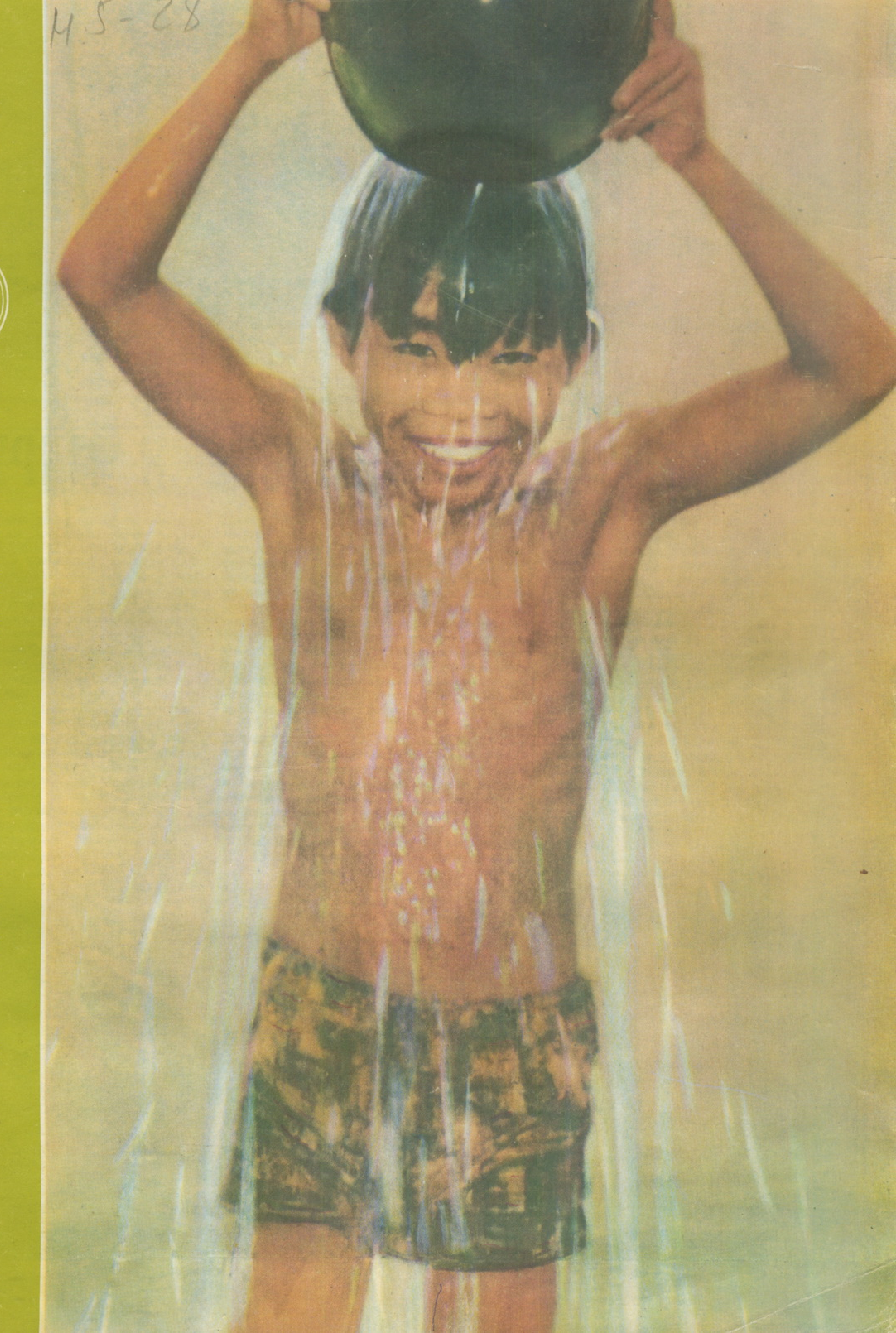
Ровесник

8
1976





КОММУНИСТЫ — ЕВРОПЕ И МИРУ

„Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». Не правда ли, удивительно образная строка? А за ней — панорама континента, раздираемого алчностью и враждой, задыхающегося от ненависти и горя, захлебывающегося кровью и потом. Это Европа, в муках родившая в свой критический час новую силу, о которой возвестил великий «Манифест» Маркса и Энгельса и которой было суждено предписанием открытых ими законов общественного развития стать надеждой, реальностью, будущим.

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». Как давно и недавно это было! В это трудно поверить сегодня. Но в сегодня, наверное, еще труднее было поверить тогда, когда призраком светлой надежды коммунизм делал первые шаги по европейской земле.

На него набросились дружно и сразу, чтобы смять, раздавить, задушить в зародыше. А он, объявленный врагом цивилизации и свободы, проклинаемый с церковных амвонов, преследуемый шпиками и полицейскими ищейками, запрещаемый государствами и гонимый капиталом, противопоставил своре могущественных врагов классовую солидарность под набатным лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и убежденно, трудолюбиво, мудро, отважно повел борьбу за подлинную цивилизацию, реальную свободу, за мир и социальный прогресс. За будущее Европы. И не только Европы.

История этой героической борьбы известна. И нет нужды, да и невозможно повторять ее здесь. Но так же, как она известна всем и каждому, все и каждый, нравится это кому-нибудь или по-прежнему вызывает зубовный скрежет, не могут не видеть, не знать, не понимать сегодня, что именно коммунизм стал надежнейшим гарантом мира и социального прогресса.

Это известно всем: никакая иная сила не смогла бы справиться с гитлеровской военной машиной, подмявшей под себя почти всю Европу и развалившейся под ударами первого в мире социалистического государства, построенного коммунистами.

Это известно всем: никакая иная сила не смогла бы в течение тридцати с лишним лет сдерживать натиск империализма, обеспечивая народам Европы мирную жизнь сегодня и реальную надежду на мирное завтра.

Это известно всем: никакая иная сила не смогла бы сплотить все честное, передовое, подлинно прогрессивное, убедить своим авторитетом и поднять своим примером народы на борьбу за лучшее будущее, за мир.

Родившийся сто с лишним лет назад на земле Европы коммунизм сегодня в авангарде главных революционных сил эпохи — социалистических государств, рабочего движения стран капитала, национально-освобо-



РОВЕСНИК
ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1962 ГОДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ И КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР
Август, 1976 год, № 8

На первой странице обложки: простой фотосюжет из Вьетнама. Но при всей простоте он символичен, не правда ли: военная каска превратилась в обыкновенный котелок для воды. Такая символика — будничное явление в сегодняшнем Вьетнаме, едином, социалистическом, занятом мирным строительством.
Фото «НБИ», Берлин

«ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ» — очерк нашего корреспондента о социалистическом братстве, о душевной и деловой солидарности, помогающих превозмочь нагрянувшую беду.

дительного движения — вместе со всеми демократическими миролюбивыми силами способен преодолеть сопротивление реакции, предотвратить возникновение мировой войны.

Все послевоенные годы коммунистические и рабочие партии последовательно и неустанно ведут борьбу за мир и безопасность народов, взяв на себя историческую инициативу в разработке и осуществлении мероприятий по развитию сотрудничества и добрососедства на Европейском континенте. Вот краткая хронология этой большой и упорной работы.

Год 1954-й. Социалистические страны предложили на совещании в Москве систему коллективной безопасности как гарантию мирного развития Европы.

Год 1960-й. Совещание коммунистических и рабочих партий в Москве заявило, что «единственно правильным и разумным принципом международных отношений является принцип мирного сосуществования государств с различным устройством, выдвинутый В. И. Лениным».

Годы 1965-й, 1966-й. Западноевропейские коммунистические партии обсуждали проблемы европейской безопасности на совещаниях в Брюсселе и Вене.

Год 1966-й. На XXIII съезде КПСС был сформулирован ряд конкретных предложений, нацеленных на обеспечение европейской безопасности.

Год 1966-й. Государства — участники Варшавского Договора выдвинули развернутую программу создания системы европейской коллективной безопасности и предложили провести общеевропейское совещание.

Год 1967-й. На конференции 24 европейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах было одобрено предложение о созыве совещания всех европейских государств по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе.

Год 1969-й. Государства — участники Варшавского Договора приняли в Будапеште декларацию, в которой обратились ко всем государствам континента с призывом приступить к практической подготовке общеевропейского совещания. В этом же году проблема европейской безопасности рассматривалась на международном совещании 75 коммунистических и рабочих партий в Москве.

Год 1971-й. В резолюции XXIV съезда КПСС, принявшего Программу мира, говорилось: «Одна из ключевых проблем укрепления всеобщего мира и разрядки напряженности — обеспечение европейской безопасности...»

Год 1972-й. Проходившее в Праге совещание Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского Договора приняло Декларацию о мире, безопасности и сотрудничестве в Европе.

Год 1974-й. Конференция коммунистических партий капиталистических стран Европы, проходившая в Брюсселе, подчеркнула значение успехов внешней политики СССР и других социалистических стран, деятельности международного коммунистического и рабочего движения, борьбы национально-освободительных движений, демократических и миролюбивых сил в создании новой обстановки в Европе.

Год 1976-й. В Москве состоялся XXV съезд КПСС, утвердивший программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов. Съезд призвал активно вести линию на полное претворение в жизнь Заключительного акта общеевропейского совещания в Хельсинки.

Таковы основные вехи послевоенной борьбы коммунистов за Европу мира, безопасности, сотрудничества и социального прогресса. Важным вкладом в эту борьбу стала Конференция коммунистических и рабочих партий Европейского континента, состоявшаяся 29—30 июня 1976 года в Берлине.

Весь мир с огромным вниманием следил за ее работой. Свыше 800 журналистов — представителей крупнейших газет, радио и телевизионных компаний собрались в столице ГДР, чтобы рассказать миллионам своих читателей, слушателей, зрителей о совместных оценках и выводах самого представительного форума коммунистов Европы.

Этот интерес понятен, ибо, как отмечал, выступая на конференции, глава делегации КПСС товарищ Л. И. Брежнев: «Сегодня яснее, чем когда-либо, видно, что империализм не может больше диктовать Европе ее судьбы. В определении этих судеб веское слово принадлежит ныне социалистическим государствам, рабочему и демократическому движению в странах капитала. И как раз этим силам принадлежит решающая заслуга в том, что Европа вот уже более тридцати лет живет в условиях мира».

Действительно, ныне Европа неузнаваемо изменилась. Это уже далеко не та Европа, которая разрушенной, залитой кровью, покрытой пожарищами вышла из второй мировой войны. Это даже не та Европа, какой она была десять-пятнадцать лет назад, в период «холодной войны». Конференция коммунистических и рабочих партий проходила в такой международной обстановке, когда принцип мирного сосуществования стал ведущей тенденцией в отношениях между государствами с различным социальным строем, что нашло наиболее полное выражение в факте проведения в Хельсинки Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое, как отметили европейские коммунисты, имеет историческое значение.

Вместе с тем Берлинская конференция учитывала, что усилилась активность врагов разрядки, сил реакции и милитаризма, которые хотели бы повернуть Европу и весь мир вспять, к временам «холодной войны» и балансирования на грани ядерной катастрофы. Успехи в борьбе за мир с тревогой встретили и те, кто наживается на производстве орудий смерти и разрушения, и те, кто стремится к разжиганию «крестового похода» против стран социализма, против коммунистов, и те, кто, как это делают маоистские руководители Китая, открыто призывает «готовиться к новой войне» в расчете извлечь выгоду для себя, сталкивая между собой другие государства и народы.

Успехи дела мира, безопасности и прогресса, дела социального и национального освобождения в огромной степени зависят от единства международной армии коммунистов, от сплочения всех революционных, прогрессивных и миролюбивых сил. Пролетарский интернационализм был и остается самым мощным и испытанным оружием компартий, всего рабочего класса в борьбе за преобразование мира в интересах людей труда.

Конференция в Берлине отразила главное: стремление братских партий при полном уважении равноправия и самостоятельности друг друга, отдавая себе отчет в различии условий, в которых они борются, всемерно укреплять товарищеские связи, сотрудничать еще более конструктивно, еще более тесно и сплоченно.

Рожденное на европейской земле коммунистическое движение несет Европе и миру мир, безопасность, демократию и социальный прогресс.



смотрите:

ГИМНАЗИСТЫ ИЗ ПРИЕВИДЗЫ

Петер БАРТОШ

Когда я приезжаю домой, я захожу в свою родную гимназию. Там у меня остались «моя парта», «мой класс», мои преподаватели и даже мои друзья, — четыре года назад они были на первом курсе, когда я сдавал выпускные экзамены. А теперь их черед пришел готовиться к экзаменам. Им всем сегодня по девятнадцать.

У нас, в Чехословакии, система образования несколько отлична от той, что существует в СССР. Каждый гражданин нашей страны обязательно получает девятилетнее образование (в школу у нас поступают в шесть лет), а уже потом выбирает: или идет работать, или заканчивает среднее образование в техникуме, профессиональном училище, средней школе или, как это сделал я, в гимназии, чтобы потом поступить в институт.

Фотографии, которые вы видите, я сделал на генеральной репетиции выпускного вечера гимназии. Вам покажется странным, но у нас такие вечера устраивают за полгода до экзамена, а не после, как у вас. Так, чтобы студенты остальное время думали об экзаменах, не отвлекаясь на подготовку к вечеру. Все же остальное везде,

наверное, одинаково: праздник этот в равной степени и торжественный и радостный, а минутами даже грустный. Вот как он проходит. В лучшей гостинице уже за два часа до начала собираются взволнованные студенты и их не менее взволнованные классные руководители, потом подъезжают остальные преподаватели, родители, гости, наконец, музыканты и, конечно, фотограф — без него не обойтись.

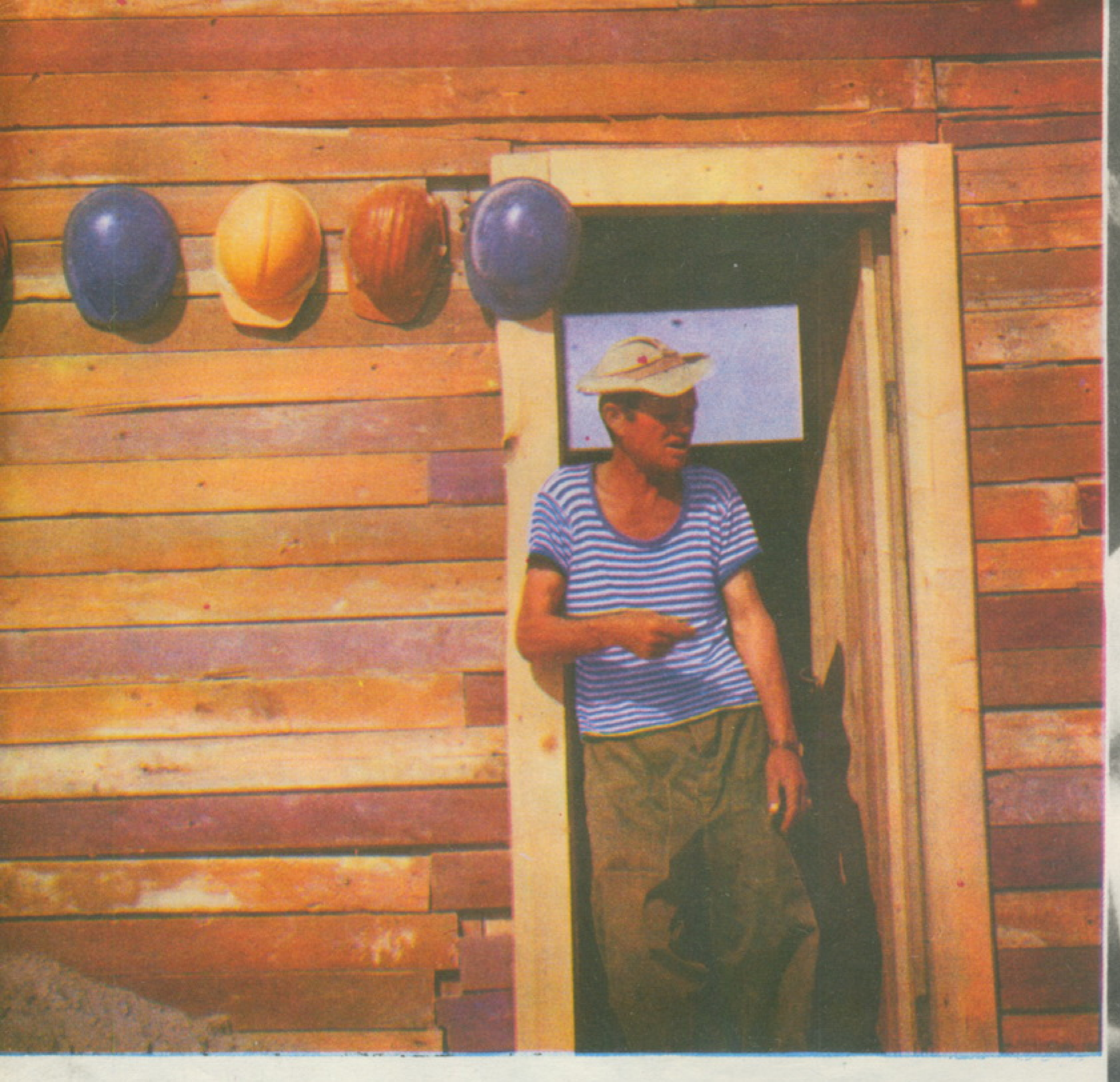
Наконец, начинается вечер: в зал под звуки музыки входят и выстраиваются выпускники. Классный руководитель дарит каждому зеленые ленточки (зеленый цвет — цвет надежды), золотыми буквами на них написано название класса — на память о школе. Студенты носят эти ленточки до конца учебного года. Последний бал: через полгода все разойдутся в разные стороны, и жаль будет, что эти четыре года, когда вместе веселились и вместе зубрили уроки, ходили в походы, любили одних преподавателей и не любили других, ушли безвозвратно.

Кажется, совсем недавно разбрелись и ребята из нашего класса... Я сдал вступительные экзамены во ВГИК в СССР. Мои друзья Иван и Яро поступили в Институт скульптуры и ваяния, Штефан учится на атомного физика, Милан скоро станет инженером-строителем, а Вера — фармацевтом.

Наш город Приевидза хотя и небольшой, всего 30 тысяч жителей, но очень красивый. Его окружают прекрасные горы, и жителям не надо далеко ездить за отдыхом: совсем рядом, у водохранилища, — туристская база, парки, уютные маленькие кафе. Я лично люблю в жаркий день выпить бутылку пепси-колы в подвале нашего универмага «Приор». Почему именно в «Приоре»? Ну, как там может не нравиться... Там всегда людно, и, когда ищешь своего друга, а его нет дома, значит, он наверняка в «Приоре». Приевидза — промышленный город, центр шахтерского района, здесь находятся мощная тепловая электростанция и большой химический завод, город школ, училищ — город молодежи. Таких небольших районных городов в ЧССР больше ста. Приевидза с ее жителями вроде ничем не отличается от других, а все-таки отличается! Это мой любимый город, где у меня много близких друзей, где я дома, куда я всегда с радостью возвращаюсь. В том числе и в мою гимназию, в мой родной IV «Г».

Фото автора







ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Ю. ЛЕКСИН
Фото Е. СТЕЦКО



Мы выехали из Бухары в полдень.

На сорок втором километре поля и деревья кончились. Кусты с длинными узкими листьями стали уменьшаться прямо на глазах, словно съеживаясь, и километров через пятнадцать превратились в рыхлые пучки высотой до колена. Потом и количество их стало уменьшаться. А перед Газли они пропали совсем.

Весь остальной путь до поселка казалось, что нас окружает лишь небо.

В машине из-за жары говорили мало и неохотно, и все, что рассказывал Любомир, комсомольский секретарь болгарских строителей, складывалось приблизительно вот во что. Болгары работают здесь давно, первая группа приехала еще в семидесятом году, сейчас же их около тысячи двухсот человек. Работают в трех местах: Узбекистане, Каракалпакии, Туркмении. Строят много. Только в Бухаре почти готов Дом техники, осталось отделать его внутри, почти построен техникум газовой промышленности, построены общежития; а еще дома



в Тахиаташе, детский сад в Навои, завод газовой серы в Умбареке. Много.

Но в апреле болгары стали снимать людей со всех объектов и переводить их в поселок газовиков. После землетрясения Газли продолжал давать газ на Урал и в Центр, но поселок нужно было выстраивать заново, и люди, совсем немного, например, не доделав бухарский Дом техники, добровольно отправились туда, пренебрегая явным риском попасть в новое землетрясение.

— Всегда жалко бросать такие объекты — едва недоделанные. А что поделаешь... Там мы нужней, — сказал Любомир.

Потом я задал обычный вопрос: как они там, в Газли, живут с местными, дружно ли и что делают вместе?

— Живут, — ответил Любомир.

Я продолжал спрашивать:

— Неужели ничего так и не проводится — этакое, знаете, совместное?

Любомир посмотрел на меня в упор:

— Проводится. Все проводилось. Мы ж не туристы. По пять лет некоторые уже здесь живут... Сейчас приедем, я пойду к своим на объекты — в школу, в детский сад, а ты поброди по поселку. Поймешь, что сейчас можно проводить.

И тут показались развалины.

Фасад первого двухэтажного дома на въезде в Газли был выброшен на землю, и все квартиры зияли глубокими ямами, ровными и квадратными. И на белой тонкой трубе со второго этажа свешивалась, не раскачиваясь, новая газовая плита.

Никого из людей возле не было.

НЕСЧАСТЬЕ

Меж палаток, которые теперь были школой, ко мне сразу привязалось двое мальчишек — десятиклассники.

— Вы нездешний, да? Мы вам все покажем. Мы все равно так болтаемся.

— Да я и так все вижу.

— Нет. Тут надо знать, где посмотреть. С какой стороны глядеть — много значит... Фабрику видели?

— Нет.

— А детский сад?

«Молчал бы уж», — подумал я. Но он не молчал. Он стал рассказывать:

— Собираюсь я утром. Ну как всегда. Оделся уже. Думал, сейчас за Сашкой зайду в школу. Вот за ним. И тут — гул. И зашевелилось все... Я только думал: сейчас газ взорвется. Стою смотрю на плиту, вот, думаю, сейчас. Потом выскочил на улицу, а там дети, матери. Матери зовут. «Витька! — кричат. — Володька!» А они, вот они, рядом с ними стоят. А они все равно кричат. Потом кто-то закричал, чтоб от столбов отходили. «От столбов! — заорали. — От столбов!» Гляжу — а столбов этих! — отходить некуда. Никогда в жизни столько столбов не видел, кругом они. Одни столбы! И тут опять все заходило. Вон оттуда волна пошла. И земля вот так поплыла.

— А перерыв-то ведь большой был? Между толчками?

— Это и хорошо, что большой. Выскочить успели.

Пока он рассказывал, в палатке седьмого «Б», как написано было на тенте, кончилась консультация по физике. Еще подошли пацаны. Поменьше уже.

— Ну что, страшно было, когда тряслось? — спросил я.

Один — красивый, нежный, видно, избалованный даже, ответил:

— Не-а! Интересно было, — и пошел, кокетливо повернувшись.

Я знал, что у сейсмологов существует даже такая группа: записывают рассказы очевидцев. Потом что-то из этого получается. Не знаю что. Ума не приложу. Это был бы у них самый короткий рассказ. Впрочем, пока что в Газли такой группы не было.

Подошли к палатке в каком-то дворе. В ней женщина и мужчина. Она сидит на красном полосатом матраце, вытянув полные ноги, и руками оглаживает их, кланяясь им. У нее очень большой живот, беременная. Рядом на стуле — муж. Полуголый.

— Идите! Идите! — зовет она. — Сфотографируйте нас!

Потом рассказывает, и тоже охотно:

— А стены как заходили... И выбежать нельзя — пол ходит, не пускает. А из плит на потолке — искры. Это как плиты друг на друга полезли... Теперь вот палатка у нас, — продолжает она. — И другая еще. Сразу дали. В другой-то у нас вещи... А вон и дом наш. Так что и квартира рядом, — едва усмехается она. — Не ходим мы в нее. Войдешь, вспомнишь, что было, жутко становится... Лучше не ходить. И не ходим.

— Не ходим. Совсем, — глухо вторит муж.

— А домик дадут вам? — спрашиваю я. Я видел их: много, штук двести сборных — уже стоят у поселка. Наши возят, а болгары собирают, уже воду тянут в них.

— Может, дадут, — говорит женщина.— Это ведь многодетным сначала.

Мы уходим, и я думаю про Любомира. «Ну, погоди!» — думаю. Он-то ведь знал, когда посылал. А впрочем, я и сам бы пошел. И потом, я забыл. Я ведь еще спросил у него тогда: «Это вы сами, болгары, решили вот так поехать помогать? Или распоряжение какое было?» Признаться, так и спросил.

Вот он и ответил мне. А тогда в машине сказал: «Ну, как тебе сказать...» — и умолк, отвернувшись.

...У детского сада, совсем заваленного, женщины опять просят их снять. Воспитательницы.

— Потом пришлите, — просят. — На память.

— А зачем? — спрашиваю я.

— Мы уедем, глядеть будем.

— Уедете и забудете. И хорошо.

— Да разве такое забудешь, — всхлипывает одна. — Как я по дорожке по этой бежала! Господи! Ходит вот так дорожка-то... Ходит вся... А я бегу... бегу... И как хорошо, что детей принимали вот здесь, на площадке. Как хорошо! Прямо сказать нельзя. А то войди мы туда, вот хоть на завтрак. Вот вошли бы мы, сели...

Но слушать нет сил.

Там и тут рушат осевшие дома, разбирают их, чтобы строить новые. Кажется, весь поселок превратился в строителей. Но приехавших на помощь строителей еще больше. Уже прибывает студенческий отряд — будут строить. (Потом приедут еще военные строители и тоже будут строить.) А детей на улицах скоро будет совсем мало. Нехорошо детям жить в неуютности: скоро кончится учебный год, в восьмых классах отменят экзамены, и многие города позовут газлийских детей к себе в гости — на все лето. Один лишь «Артек» возьмет к своему морю сто человек. И все бесплатно.

А мой сопровождающий говорит:

— Никуда не поеду. Собирается школьный строительный отряд — из старшеклассников. Мы с Сашкой уже записались.

К болгарам я попал лишь вечером.

Они расположились в девяти километрах от Газли, у самых головных сооружений. Ради этих «головных», собственно, и живет Газли: отсюда идут невидимые трубы с газом, здесь дожимают его подземное давление, чтобы газ тек по трубам быстрее. То есть это огромный завод, и недаром у сооружений такое название — головные. Такие они и есть: в начале всего и сами начало.

А меж поселком болгар и этими сооружениями с километр пустыни, но уже изъезженной, избитой, хотя еще и ползут редкие пустынные черепахи, проскальзывают ящерицы и варанчики — тонкие, с завернутыми в кольца хвостами, с палец длиной. Больших тут не встретишь. Гул стоит от сооружений жестокий, постоянный, но настолько ровный, что перестаешь замечать его почти сразу.

— Замечаешь, если он прекратится. Тут же. Это значит, несчастье — многие говорили мне.

Домики тут низкие — одноэтажные и с деревянными каркасами — попросту оштукатуренные. Но вот случилось, что их землетрясение как раз и «не берет», как говорил Милан.

— А все равно выбегаем чуть что... Не усидишь. Хочешь не хочешь, а выскочишь.

Но все-таки здесь безопасно, и поэтому сюда сразу же после землетрясения перевели из Газли больницу и роддом.

Жить среди опасности, не подвергаясь ей, это совершенно особое чувство — настолько редкое, почти невозможное, как бессмертие среди смертных. Здесь оно есть. По крайней мере, те, кто живет тут, думают, что они в безопасности, хотя бы по ночам.

(Потом окажется, что и это неправда. В настоящем несчастье несчастны все, поразному, но все.)

— На днях у нас здесь мальчик родился, — сказал Милан. — Пошли все смотреть. Не пустили, правда. Нельзя.

Это был первый газлиец, для которого не существовало никакого землетрясения.

ПОСЫЛКИ

Вот адрес, по которому можно послать слова сочувствия:

706430, Бухарская область, поселок Газли.

Не стоит опасаться опоздать, тепло не бывает лишним ни в какое время. И это не значит, что в Газли чего-то не хватает, о газлийцах заботятся много, заботятся все, но и бедствие было огромным и неожиданным.

Мне же в мае довелось увидеть первые семь посылок, которые пришли по этому адресу. Все извещения были заполнены одним и тем же детским почерком — разборчивым и красивым. Выходило, посылки были из какой-то школы — откуда, понять по извещению невозможно, но там, откуда прислали посылки, явно выбирали человека с таким вот почерком. И это, наверное, было наградой — подписать все и отправить.

В Газли уже стояла жара. Зной как однажды вполз в палаточный город, так уж и не выползал из него. На улице, на солнцепеке, хотя и было градусов тридцать пять, дышалось легче, потому что в палатках, и это уже проверено, температура поднимается еще выше.

Шура — секретарь поселкового комитета комсомола — как раз думала, как ей получить посылки и отвезти их в школы: половину в русскую, половину в казахскую. Милан, болгарин, инженер у болгарских строителей, которых в Газли в это время уже было больше двухсот, тоже по каким-то своим делам оказался в палатке комитета комсомола. Он и предложил поехать за посылками на своем автобусе. Мы поехали.

По дороге Милан спросил, кому посылки.

— Всем, — ответил я. — Вам всем. Они же без адреса.

— Болгарам? — удивился Милан. — У нас нет несчастья! Мы сами помогать приехали.

Шура и девочка, поехавшая с ней помочь, заулыбались.

— Да нет, Милан. Детям это. От детей и детям.

— Книги там, наверное, — тихо добавила Шура.

На одном извещении, правда, написано было: «Посылка дает течь». На почте уже приписали. Наверняка прислали что-то вкусное.

Мы все продолжали молча улыбаться. и Милан тоже.

Из болгар, что находились сейчас здесь, сорок человек были в Газли во время землетрясения. И все, пережив его, остались.

— Что подумали о нас, если б сбежали?! — сказал Милан. — Как можно? — Это мы говорили за завтраком в их, болгарской, столовой.

Старая женщина, вытиравшая стол, услышала наш разговор.

— Идти нельзя было, — сказала вдруг, глядя не на нас, а как-то прямо перед собой, туда, где и ничего не было, кроме пустой, голой стены. — Заходило все... Вышли кой-как, к забору встали вот так, держимся, а земля-то, земля... Взбесилась. Ну, думаем, газ сейчас взорвется, компрессор...

— А мы как раз ехали сюда, — заговорила болгарская повариха.

До этого она все молчала, но я уж давно заметил, что как только кто-нибудь из собравшихся начинает вспоминать, **как это было,** то никто умолчать не может.

— Сели в машину, а ее вот так кидает. Неужели, думаем, шофер пьяный? А тут он останавливается — и к нам в кузов: «Чего разыгрались?» А мы на него глядим. И скорей поехали сюда. Здесь и компрессоры, и поселок наш, все тут. Никто даже слова не сказал, только глядим друг на друга, и все. Подъезжаем, а наши как раз на работу шли, к компрессорам. Видим, лежат все на земле. «Ложись! — мне кричат. — Ложись!» А куда ложиться? Земля, пыль...

— Мачта та, — не выдержал и Милан, —

та, огромная, рядом с головными сооружениями, как живая, ходила.

Мачта ретранслятора и впрямь была огромной, и представить, что она «ходила», было просто невозможно. Никак не получалось. Это вообще одна из странностей. Нельзя, невозможно представить себе, **как это было.** Или ты видел **это** и пережил, или не видел и не знаешь. И это не от отсутствия воображения, просто невозможно и все, как человек, ни разу не видевший снег или океан, никогда не представит их себе — все будет убогим. Бедствие же нельзя представить еще и потому, что оно ненатурально. Несчастье противоестественно, как зло без причин. И его нельзя вообразить. Да и плохо ли это?

Уже потом один болгарин, работавший в Бухаре, человек с живым воображением, говорил мне, что умей мы это представить, и мы погибали бы в кораблекрушениях, не случившихся с нами, захлебывались в наводнениях, хлынувших на другой континент, то есть погибали бы в буквальном смысле. И тогда вряд ли бы кто из новых людей, да из переживших землетрясение тоже, приехал или остался после несчастья в Газли; сейчас же город жил среди своих руин, люди занимались делами, которые делали бы в полнейшем благополучии, то есть работали, учились, готовили еду, ссорились и смеялись — жили той обыкновенной жизнью, которая прервалась всего на какие-то мгновения апрельским утром, чтобы тут же продолжиться. Только жизнь эта — после тех мгновений — требовала неимоверно больших усилий и добродушия в отношениях друг к другу, потому что все-таки надо было вернуться к той ее части, которую отделило от этой несчастье. Но было и это. Были и усилия и добродушие. Собственно, поэтому мы сейчас и ехали за посылками — за небольшими и, вполне может быть, совершенно ненужными вещами, которые и не пригодятся здесь, в бедствии, но посланными лишь потому, что кто-то не мог их не послать, как вот эти самые болгары не могли уехать отсюда, бросив все, а продолжали по двенадцать часов в день разбирать развалины, аккуратно складывая в сторонке то, что пригодится, стараясь не разбить случайно ни один кирпич, а высвободив его из пыли и обломков, клали так, будто только что изготовили его собственными руками. И никто не удивлялся этому и не восхищался этим, потому что удивляться было бы глупо, а восхищаться безнравственно. И было это все лишь в порядке вещей, и только.

Болгар, кстати, никто и не замечал тут. То есть никто — ни один человек в поселке, с кем мне ни приходилось разговаривать, не видел ничего особенного в том, что к работавшим здесь давно сорока болгарам вдруг приехало еще двести и что они вот тут вместе с неболгарами и работают — под одним солнцем, очень жарким, под одной и той же угрозой нового землетрясения, которого все же никто не ожидал и которое все же скоро должно было случиться, и случилось, и теперь уже разрушило Газли совсем.

Но было лишь 13 мая 1976 года. До того, будущего, землетрясения оставалось четыре дня, и . ехали за посылками, пришедшими неизвестно откуда.

Впрочем, это ·яснилось сразу же. И вот адрес тех детей, которые первыми поделились с газлинцами· Бухарская область, поселок Уч-Кудук, школа № 5. Письма в посылках не нашлось, и мне сразу стало ясно, что глупо было ждать его. Дети не посылают соболезнований, они просто соболезнуют, то есть делают то, что в их силах, и все.

Распечатывали посылки в классе на втором этаже. Сегодня как раз был первый день занятий в здании школы. Школа была построена прочно, и землетрясение почти не тронуло ее. Надо было сделать только ремонт. Его как раз и делали болгары. На столе в классе разворачивали посылки, а за большими окнами снаружи двое болгар еще подкрашивали оконные рамы. Один был большой, по пояс голый и с бородой — совсем не любопытный. Делал свое дело и в класс не смотрел, будто перед ним была стена, а не стекло. Другой же — тоже полуголый, с чистым лицом, все заглядывал в класс, но никак не мог понять, что же там происходит, и оттого ему еще больше хотелось разглядеть происходящее.

Книжки уже достали. Не знаю зачем, но я запомнил их. «Детство» Толстого, «Повести» Гайдара, горьковские «Рассказы», «Всадник без головы» Майн Рида, «Путешествие из Петербурга в Москву».

Совсем отдельно лежало «Слово о полку Игореве», и его обложка напоминала то, что происходило здесь.

Дальше шли учебники. «Сладкой» посылки не оказалось, на почте что-то перепутали.

Я спросил Милана, что же он не смотрит, какие книги, вроде за этим и приехал — поглядеть. Он встрепенулся со смущением:

— Да что-то задумался... Я сейчас посмотрю, — заспешил к столу.

— Да чего уж там! Не ходи. О чем хоть думал?

— Про работу, прости.

И действительно не пошел. Опять стал думать.

Его сын учился в этой школе. Ему было восемь лет.

А Шура все переглядела, перетрогала, тут же с пионервожатой разложили книжки по стопкам: художественные к художественным, учебники к учебникам. С привычной старательностью распорядилась куда и какие нести: что в библиотеку, что в классы — раздать, у кого не хватает. А я все помнил, как она рассказывала: «Столбы как в мультиках ходили». Рассказывала и улыбалась вначале. Но потом перестала. Сказала: «А все же хорошо, что меня не было. Я в Ташкенте как раз была, экзамены сдавала. Повезло мне».

НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Мне тоже повезло. Прошло два дня, как я улетел, и Газли, как писали газеты, не стало. То есть не стало его домов — тех, которые еще стояли после первого землетрясения, хотя жить в них уже было нельзя.

До отлета я жил в болгарском поселке. Вернее, ночевал в нем, а утром уезжал с ними на их работы. Рассказов от них слышал много и разных, но все о Болгарии — о доме, о семьях. О здешних делах здесь говорили мало, только на производственных совещаниях, когда собирались все вместе вечерами перед кино. Но и тут не говорилось лишних слов: распределяли людей на завтрашние работы, назначали нормы, говорили, что надо делать скорей, как можно скорей. То есть, в сущности, уговаривали друг друга работать еще больше, хотя уже и так работали до изнеможения.

В поселке строили новые дома-общежития, чтобы принять новых болгар, которые вот-вот должны были приехать. Как будто все готовилось к тому, что произойдет, и понадобятся еще люди, много людей.

И это произошло.

...Я позвонил из Москвы своему знакомому — Антону, заместителю Любомира:

— Живы вы? Никого?..

— Никого... Живы.

— Это хорошо, Антон!

— Это очень хорошо, Юра!

— И никто не сбежал из Газли?

— Никто. Ты что, интервью у меня берешь? Так бы и сказал... Сразу устроили собрание. Решили кинуть туда еще. Наши едут отовсюду, где только есть. Из Тюмени, из Оренбурга едут. Из Ярославля, из Коми... Вот-вот там будет шестьсот человек — в Газли.

— А что делаете?

— Все то же. Домики, детский сад. Компрессорную уже почти закончили. Много там работы. Прибавилось. Сейчас еду туда собрание проводить.

— О чем собрание?

— О работе, сам понимаешь.

— Антон... Это уже не интервью... Школа там как? Она ведь стояла...

— Не спрашивай меня про это... Дети там... погибли... двое.

(Антон сам ждал ребенка. Я был у него в гостях. Жена его, Таня, они недавно поженились, все рассказывала, какая была свадьба, «немножко по-болгарски, немножко по-русски», и как он странно ухаживал за ней: «Так был уверен, что я выйду за него, ну так был уверен! Просто этим и взял. Я только удивилась: неужели так можно? Оказывается, да». И про бабушку свою — как она спросила у нее, одно только и спросила — видит, что ничего уж не поделать с ними: «Они хоть христиане, Тань, болгары-то?» Еще рассказывала про Антона. «Он говорит мне: „Как зашевелится **он** у тебя, сразу говори!“ А прошлой ночью **он** зашевелился, а он спит — и не знает, и не догадывается даже. Спит — и все. Я так смеялась... На всю комнату... Кому ж я скажу, если он спит?!» Красивые огромные глаза Тани в это время сияли. И было все это — весь ее рассказ — одновременно и правда и неправда, как полусон, принадлежащий только ей.)

— Ты что молчишь? — спросил Антон.

— А ты?

— Я так... Спрашивай еще. Что еще хочешь знать?

— Таня как, Антон?

— Хорошо Таня. Чуть, правда, и ей не досталось... Она спала, а над кроватью у нас, помнишь, ящик от стереопроигрывателя. Так он упал...

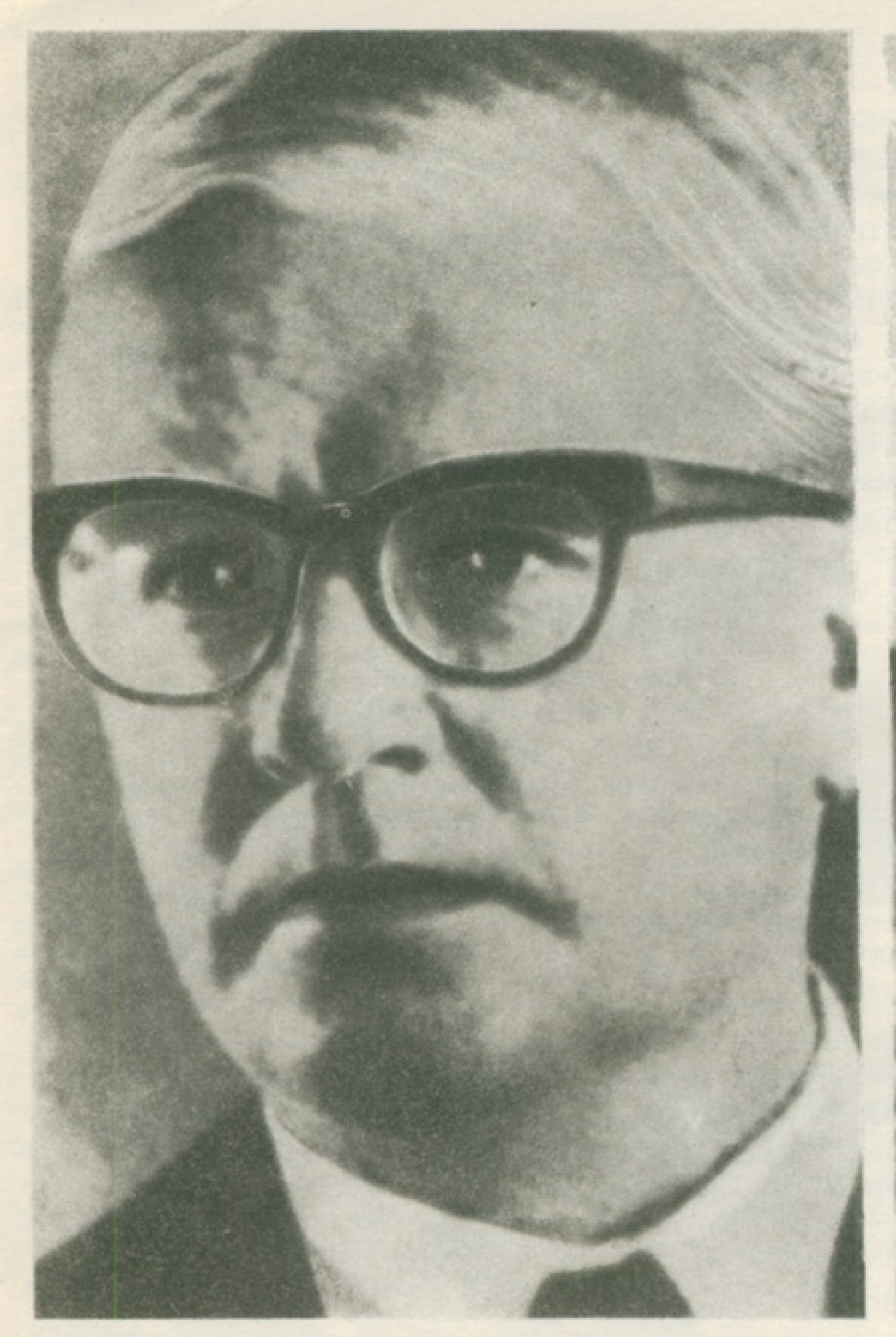
— А Татьяна?

— Выскочила... Ничего. Хорошо все у нас. Вообще у нас у всех. Правда, хорошо. Работаем мы.

— Я рад, Антон. Удачи тебе.

Очень трудно в таких разговорах положить трубку. Может, сказано все, а может, и не совсем. Но разве можно сказать все?

Газли — Бухара — Москва





ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА

Хью ЛЬЮИН.

В конце 1968 года я был переведен в новую тюремную секцию специально для белых политзаключенных. Командовал всей секцией некто капитан Шнепель, весьма характерный персонаж из галереи южноафриканских тюремщиков. Этот пузатый, с пышными усами человек начинал простым надзирателем. И вот вырос. Каждое утро Шнепель вершил молитву, призывал господа бога руководить им в принятии решений в течение предстоящего дня. «Бог — свидетель, — говорил Шнепель, — что я выполняю приказы начальства до последней буковки». Свидетелями были также фотографии, висевшие в его кабинете, с которых строго глядели старый генерал Герцог[1] и д-р Фервурд[2]. Странно, но там не было портрета Гитлера, хотя Шнепель искренне считал его «превосходным вождем».

Когда от внезапного сердечного приступа умер один молодой надзиратель, по имени Эрасмус, г-н Шнепель разрыдался на глазах у всех. И он же наотрез отказался продлить хоть на несколько минут свидание Брама Фишера с сестрой Адой, хотя знал, что та вот-вот умрет от рака. «С какой стати давать вам лишние минуты? — рявкнул он в ответ на просьбу Фишера. — Мало ли людей помирает каждый день. Что тут особенного?» Тот визит Ады оказался последним, она вскоре скончалась.

Г-н Шнепель считал себя человеком справедливым и благочестивым. А нет ничего ужаснее, чем такой вот уверенный в своей правоте и благонамеренности человек, облеченный безграничной властью над политическими заключенными.

Если бы все происходило не в тюрьме, а в цирке, получилась бы забавная картинка: весь вечер на манеже — толстяк Шнепель с хлыстом и тросточкой, благодушный дрессировщик веселых зверушек. Но все далеко не так смешно, если клетка скрыта от зрителей, если они не могут заглянуть внутрь, а «зверушки» — выглянуть наружу. И если вальяжный дрессировщик облечен полномочиями господа бога.

В цирке есть место состраданию. Увы, тюремная жизнь не цирк. И именно такая жизнь выпала на долю таких людей, как Денис Голдберг и Брам Фишер. Денису Голдбергу был 31 год, когда в 1964 году его вместе с руководителями боевого крыла Африканского национального конгресса[1] осудили на процессе в Ривонии. Их всех приговорили к пожизненному тюремному заключению на основании закона о «подрывной деятельности». Адвокатом обвиняемых, едва избежавших казни через повешение, был Брам Фишер. Два года спустя, в 1966 году, Фишера самого осудили по тому же закону и тоже на пожизненное заключение. Ему тогда было 58 лет.

Для тюремщиков Брам Фишер — совершенно особая разновидность «бандита». Его отец в свое время был верховным судьей, а дед — премьер-министром Оранжевого свободного государства[1]. Таким образом, он происходил из рода выдающихся африканеров[2]. Сам же Брам Фишер снискал известность и как адвокат, и как коммунист, и как африканер. Тюремщики видели в нем главную «черную овцу» африканерской нации и относились к нему с затаенным восхищением и уважением. И поэтому они извлекали особое, садистское удовольствие, мучая его, словно издевательство над ним возвышало их в собственных глазах. Они пыжились от гордости, упиваясь своей эфемерной властью над Фишером. Например, главный надзиратель ду Преез. Он решил во что бы то ни стало сломить гордость и спокойствие этого узника, не гнушаясь никакими, даже самыми мелочными, издевками. Безупречно корректный со всеми, в том числе с ду Преезом, Фишер порой бывал явно озадачен наскоками главного надзирателя. Чем мог ду Преез уколоть узника? Он выдал Фишеру непомерно большую куртку и штаны, приказал стричь его наголо, хотя правила этого не требовали. Дольше, чем кого-либо из нас, держал его в полной изоля-

---

Отрывок из книги «Бандит»: семь лет в южноафриканской тюрьме». Лондон, 1974. Автор, Хью Льюин, был арестован в 1964 году, когда было ему 24 года. Сын белого священника и сотрудник еженедельной газеты для коренного населения ЮАР, он вступил в подпольную группу, ставившую целью привлечь внимание общественности к участи черного большинства ЮАР; средство — диверсии, которые, будучи «шоковой встряской для белых», в то же время обходились бы без человеческих жертв. Отбыв семилетнее заключение, Х. Льюин был выслан из ЮАР и теперь живет в Англии.

[1] *Главарь ультраправых сил. (Ред.)*

[2] *Покойный премьер-министр ЮАР. (Ред.)*

[1] *АНК — массовая политическая организация коренного населения ЮАР, ведущая в подполье борьбу за свержение расистского режима. (Ред.)*

[1] *Одна из территорий буров, покоренная в 1899 году Англией. (Ред.)*

[2] *Потомки буров (в переводе с голландского — «крестьян») называют себя африканерами, а свой язык, далеко отошедший от голландского, — африкаанс. (Ред.)*





Преторийская тюрьма, в которой расистский режим загубил жизнь замечательного коммуниста и человека Брама Фишера (левый снимок), после волны выступлений угнетенного коренного населения ЮАР этой весной пополнилась новыми узниками. Рисунок, который мы перепечатываем из английской газеты «Обсервер», сделан заключенным этой тюрьмы.

ции. Заглянув в «иуду», дверной глазок, и увидев, что Фишер читает, ду Преез врывался в камеру с воплем: «Сейчас по распорядку дня не положено читать! Если еще раз замечу, конфискую все книги». И, уходя, бросал через плечо: «Если так приспичило почитать, разрешаю библию». В другой раз ду Преез мог разразиться проклятиями, если Фишер говорил, что очень голоден и просит еще кусок хлеба. А с каким наслаждением этот тюремщик наблюдал, как Фишер подметает двор. Но, конечно, особое удовольствие ему доставлял вид Фишера, чистящего уборную. Думаю, в жизни ду Преeза это были «звездные» мгновения — стоять и командовать сверху вниз знаменитому адвокату и коммунисту Браму Фишеру, который щеткой и тряпкой, на коленях, скребет отхожее место.

Все офицеры, появлявшиеся в тюрьме, непременно желали быть представленными Фишеру и разглядывали его с головы до ног, как экспонат на выставке. «Хелло, Брам, как дела?» — говорили они. И Брам, всегда отменно вежливый и ровный, удостаивал их кивком головы и говорил в ответ что-нибудь в этом же роде.

Не так держал себя с ним только г-н Тис Нел. Бригадный генерал Тис Нел был заместителем смотрителя тюрем, вторым богом в тюремном мире. Однажды ночью он появился в нашем отделении изрядно пьяным. Похоже, он только что приехал с какой-то вечеринки, прихватив с собой приятеля. Ему явно хотелось похвастать своими владениями и «подразнить зверей».

Из камеры слышно, что происходит в коридоре. Разогретый обильным ужином, Нел чувствовал себя свободным от служебных рамок — благо свидетелей никого, кроме запертых по своим клеткам «красных бандитов». В дальнем конце коридора загремел его голос. «Дурак! — прокричал он, подходя к окошку камеры Фишера. — Хоть ты и адвокат и все говорят, что очень умный, но, по-моему, ты дурак и просидишь здесь вечно!» Он все больше распалялся, и ругательства, одно отборнее другого, посыпались, как из мусорного ведра.

Как-то раз, ближе к вечеру, в феврале 1971 года, Браму Фишеру приказали: «Одевайтесь, к вам пришли». Визит был неожиданным, Брам Фишер не знал, кто бы это мог быть. Он поспешно прошел в камеру для свиданий. Эта камера разделена надвое глухой перегородкой, в которой на уровне человеческого роста есть застекленная щель шириной в десять сантиметров. Сквозь эту щель и видят друг друга заключенный и тот, кто к нему пришел. Стены камеры обшиты звукопоглощающими панелями, чтобы уменьшить помехи для записи разговоров на магнитную ленту. Записывающая аппаратура стоит в соседней комнате, но все заключенные давно знают об этом секрете. Для того чтобы записать каждый разговор, свидания разрешают только по очереди, одно за другим.

К Браму Фишеру пришел в тот вечер брат. Принес он единственное и сугубо семейное известие. Поскольку свидание было внеочередное, Фишер охранялся не одним, а двумя надзирателями, и рядом с его братом стояли тоже два тюремщика. Брат сообщил узнику, что у того умер сын, его Поль: «Это случилось сегодня утром. Он пошел в клинику на обычное обследование, и там у него внезапно случился коллапс легких. Вот. Сегодня утром...»

Поль Фишер с рождения страдал страшной болезнью — кистозным фиброзом. Многие годы родители терпеливо и упорно боролись за жизнь сына, зная, что смерть все же может нагрянуть в любой момент. Но оттого, что Брам Фишер это знал, удар не стал легче. Тем более что Поль выглядел таким цветущим и счастливым, когда в январе прилетел из Кейптауна на ежемесячное свидание с отцом и сообщил, что получил университетский диплом с отличием. Он так радовался успеху...

Брам Фишер вышел из камеры для свиданий, когда нас как раз запирали на ночь. Ему не с кем было даже перекинуться словом. Его тут же заперли в свою камеру. Все как обычно, все как положено. Потом к нему на минутку заглянул Шнепель, чтобы сказать, что он глубоко опечален известием. И снова дверь камеры захлопнулась, и для Фишера начался ежесуточный отрезок полного одиночества длиной в 14 часов.

Ему, конечно, не разрешили побывать на похоронах. Ответили, что это было бы «не в интересах поддержания безопасности государства».

...Брам Фишер по-прежнему в той тюрьме, которую я покинул в 1971 году.

Политзаключенные в ЮАР не могут надеяться ни на сокращение срока, ни на амнистию. Если политика Форстера не изменится, Брам Фишер останется в тюрьме до своего последнего вздоха.

Перевела с английского Р. АЛЕКСЕЕВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

Случилось иначе: Брам Фишер умер (8 мая 1975 года) в доме своего брата, в родном городе Блумфонтейне. Расистские власти, дотоле наотрез отказывавшие настояниям родственников и общественности освободить смертельно больного Фишера, «смилостивились», когда дни его были сочтены. Это был фарисейский, достойный фашистского режима жест: узник скончался на воле, но под дулом охранника, а на другой же день комиссар тюрем генерал Стейн потребовал от семьи Фишеров передать урну с прахом покойного министерству тюрем, поскольку-де Брам Фишер был заключен «навечно»... Этот замечательный человек, член ЦК Южно-Африканской коммунистической партии, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» нагонял страх на тюремщиков даже после своей смерти. «Брам Фишер, — говорилось в телеграмме ЦК КПСС южноафриканским коммунистам, — известен советским коммунистам и всем советским людям как мужественный борец против расистского режима ЮАР, за национальное и социальное освобождение угнетенных народов Южной Африки. Он был искренним другом Советского Союза».







НА ДНО, ПЕРВЫМ КЛАССОМ?..

С. РЕМОВ



Сесиль Родс, известный колонизатор и основатель Британской южноафриканской компании, захватив в 1890 году территорию нынешней Родезии, произнес «исторические» слова (в те времена после захватов чужих территорий всегда произносили «исторические» слова). «Я полагаю, — сказал Родс, — что мы (англичане) являемся первой расой на земле, и чем большая часть земли будет принадлежать нам, тем лучше будет для всего человеческого рода. Мы должны повелевать неграми. Здесь, на берегах Замбези, должна быть образована самоуправляющаяся белая община...» Прошло восемьдесят шесть лет, и сегодня в столице Родезии, Солсбери, на бамперах машин наклеивают надписи: «Молитесь за Родезию!»; лишь за один год эту страну покинули 10 тысяч белых, и все больше и больше встречаются дома с коротким объявлением: «Продается».

Что же происходит в эти дни в Родезии, остающейся вместе с ЮАР едва ли не последним бастионом расизма; что происходит в стране, официально осужденной за ее политику сегрегации не только бывшей метрополией — Англией, но и всемирным форумом — Организацией Объединенных Наций? Что происходит в стране, к границам которой вплотную после получения независимости Мозамбиком и Анголой подкатила волна африканского освобождения?..

В тихом Солсбери, чью провинциальность нарушает лишь пара небоскребов, мало осталось белых колониальных домов с традиционными портиками; «европейцы», как любят себя называть белые поселенцы, живут все больше в отдельных виллах, как правило, с акром «приусадебного участка» вокруг. На изумрудных полях «европейцы», облаченные в шорты и тенниски, играют в гольф и крикет или сидят в уютных клубах, потягивая пиво и

рассуждая об охоте и последних скачках... Все тихо, чинно и привычно, но в шесть вечера Солсбери пустынен: белые сидят по своим виллам; черные, днем занятые работой в центре, отправились в свои «монорасовые» кварталы — Хайфилд и Хараре. И там, в этих кварталах, все вроде по-старому: бараки из шлаковых стен, крытые жестью, — стандартные шесть бараков на акр площади. В отличие от «европейцев», черные не имеют прав на собственный дом, они вправе лишь арендовать помещение у городских властей. Лишь главные улицы замощены и по вечерам освещаются.

Всего в столице — полмиллиона африканцев и 125 тысяч белых. Всего в Родезии — шесть с половиной миллионов африканцев и 250 тысяч «европейцев».

Итак, население по этническому, расовому признаку распределяется явно неравнозначно: на одного «европейца» приходятся двадцать шесть африканцев. Точно так же неравнозначно, но как положено в расистской стране, в обратную сторону, разделение прав на владение землей, установленное специальным парламентским актом в 1970 году: вся земля была поделена почти пополам, причем чуть большая половина с плодородными землями, естественно, отошла 250 тысячам «европейцев» (к примеру, у премьера Яна Смита две фермы, по 10 тысяч акров каждая), а заросшие кустарником-бушем, зачастую не поддающиеся обработке земли второй, меньшей половины — шести с лишним миллионам африканцев. Все чудно вроде устроилось, считали белые поселенцы. В ответ же на обвинения в открытом и откровенном расизме, в проведении колониальной политики, раздававшиеся как на бесчисленных демонстрациях общественности по всему миру, так и на официальных заседаниях ООН, наложившей эмбарго на торговлю с Родезией, они лишь ухмылялись. Эмбарго и вправду мало задело экономику страны; межнациональные корпорации толкуют вопросы морали не строже расистов Родезии — для них куда важнее доходы от торговых операций, например, от закупок хромовой руды, по добыче которой Родезия занимает третье-четвертое место в капиталистическом мире. Впрочем, и на обвинение в расизме и колониальной эксплуатации «цветного» населения «европейцы» Родезии давали вполне пристойные и вполне их самих удовлетворяющие ответы. «Во-первых, — говорили колонизаторы, — никакие мы не колонизаторы, а такие же местные жители, как африканцы; трудом наших предков и нашим трудом созданы эти города, эти заводы и эти фермы». (Ради точности скажем здесь, что на сегодняшний день лишь менее одной трети белых поселенцев родились в Родезии, у более чем половины на руках неродезийские паспорта; значительную часть белого населения составляют португальцы, бежавшие из Анголы и Мозамбика.) Некий Колин Барроу, депутат парламента от партии «Родезийский фронт» (правительственная партия; другие партии настолько микроскопичны, что практически не существуют; «левые» партии запрещены вообще), так вот этот Колин Барроу в интервью итальянскому корреспонденту так комментировал проблему расизма в Родезии: «В сущности, проблемы негров, проблемы совместной жизни белых и негров для нас не существует. В том смысле, что белые должны продолжать жить с ними, как жили, а они продолжать с нами, как жили. Мы много сделали для негров, мы много им помогали, мы внедрили их в экономику страны, ее политику и социальную жизнь. Родезийские негры (и это второй аргумент колонизаторов, когда они утверждают, что они не колонизаторы. — *С. Р.*) имеют второй после Южной Африки доход на душу населения. Наши негры, мы зовем их африканцами, счастливы и признательны нам...»

Колин Барроу — достойный член своего парламента. Да и парламент достоин его — на 66 белых депутатов приходится лишь 16 черных. Как же так? Ведь большинство избирателей — африканцы. Нет, как раз наоборот. Дело в том, что, «внедряя негров в политику», расисты не забыли внедрить в конституцию одно маленькое условие: право голоса получают не по вступлении в определенный возраст, а по вступлении во владение определенным доходом и собственностью. Вот так и получается, что в выборах в парламент принимают участие 87 тысяч белых и лишь 7,5 тысячи африканцев. Так что даже те шестнадцать «цветных» депутатов, что заседают в парламенте, не были целиком выбраны во время голосования. Восемь мест из шестнадцати — представительские; столько зарезервировано для «голоса» черных племен, и назначаются на эти места только те, кто согласен подпевать «голосу» белых.

Что касается «внедрения в социальную жизнь», о котором также распространялся парламентарий Барроу, то здесь характерной будет такая деталь: ежегодно Родезия тратит на одного белого ученика 494 доллара; на одного черного (обучение в стране раздельное) — 56.

Наконец, о доходе на душу населения, «втором во всей Африке». Тут, конечно, сказывается то обстоятельство, что высшее образование для белых в Родезии не проблема. А потому не проблема для них совершить несколько простых математических действий — сложить черных с белыми, установить национальный доход, разделить одно на другое — и, пожалуйста, — «второе место в Африке». Другое дело, что на практике «европейцы» в Родезии имеют один из самых высоких доходов в мире (8080 долларов в год), а половина африканского населения этой страны живет, по определению американского журнала «Тайм», «вне денежной системы», и лишь менее одного миллиона имеют постоянную работу. Трудно представить, как это африканцам удалось разбогатеть (как уверяет все тот же К. Барроу), если, скажем, зарплата черного шахтера за восьмичасовой рабочий день составляет 65 центов (меньше нашего полтинника)...

Неинтересно писать про ненависть. Особенно животную, неуправляемую ненависть. Они все разные — и высокие и коротышки, и рыжие и лысые, и молодые и старые, смешливые и угрюмые, и мужчины и женщины... И все одинаковые в той самой животной ненависти. Они рассказывают разные истории — и про то, что «еще мой дед мотыжил эту землю», и про то, «сколько пота стоил нам этот дом с четырьмя спальнями, двумя ваннами и бассейном», и про то, что «на своей ферме я кормлю сотни негров», и про многое другое, из чего видно их убеждение в священности и вечности тех порядков, которые пока существуют. И еще: все их рассказы кончаются ненавистью. Много ли таких «европейцев» в Родезии?

«Пока это ружье еще не стреляло. Но и я, и моя жена хорошо знаем, как им пользоваться» — фермер Ланс Николь.

«Я буду стрелять. О, как я буду стрелять! Мы все будем стрелять. Мы их всех перебьем» — фермер Ронни Дриздель.

«Если мы не хотим отдать им все, что у нас есть, мы должны будем перестрелять их одного за другим, как собак. Первый же негр, который появится на пороге моего дома, будет уложен мной в ту же минуту» — хозяин магазина Фрэнк Бителли.

«Вот уже двенадцать лет, как мы сталкиваемся с террористами. Пока они нам особых хлопот не доставляли. В прошлые годы они попадали в наши сети сотнями, и сотнями мы их убивали. Если в будущем они придут к нам тысячами, мы их будем убивать тысячами» — премьер-министр Родезии Ян Смит.

Гадко писать о животной ненависти лавочников-черносотенцев, готовых глотки грызть за свои акры, дома, магазины, бассейны, шахты и заводы, за свою власть над другими людьми. Но ведь речь в конечном счете идет не об этих сегодняшних землесобственниках, а завтрашних человекоубийцах, но о судьбах миллионов людей и судьбе страны.

О чем говорят нынче на предвечерних коктейлях родезийские «европейцы»? О том, куда безопаснее ехать на отдых, о мерах безопасности, принятых не только на этот случай, но и на каждый день — один огородил дом колючей проволокой и плотно зарешетил окна; другой прибегнул к рекомендуемой правительством системе автоматического оповещения полиции, гарантирующей немедленный вылет патрульных вертолетов; третий отрыл во дворе окопы полного профиля с брустверами из мешков с песком; четвертый выписал специально дрессированных сторожевых псов: «Да, вы читали объявление? Этих псов тренирует и натаскивает исключительно европейский персонал! Как это, в сущности, разумно!..»

Разговоры, разговоры... Но не только. За последние три года военный бюджет Родезии вырос более чем вдвое, а вооруженные силы — с 5 до 12 тысяч солдат. Особый упор был сделан на создание и подготовку специальных антипартизанских соединений. Как известно, в феврале карательные части родезийских войск совершили варварские «превентивные», как выражались в Солсбери, налеты на деревни, расположенные за чертой границы с Мозамбиком. Одновременно более 200 тысяч африканцев-родезийцев, проживавших в деревнях-краалях вдоль той же границы, были согнаны в специальные лагеря, изящно называемые пропагандой «укрепленными», или «защитными», лагерями. Цель их создания куда как гуманна — защитить бедных крестьян от террористов. (В недавнем прошлом такие лагеря и с той же целью пытались создавать в Южном Вьетнаме американцы. Эта модель, хотя и полностью провалившаяся, и была взята за образец «европейцами» Родезии.)

Каждое утро ворота лагерей раскрываются, и африканцы отправляются на работу в поле; к закату они вновь приходят к колючей проволоке «защитных» лагерей, и там, за частоколом, за сторожевыми башнями, за светом прожекторов и дулами готовых к стрельбе пулеметов «мирно» ночуют... «И несмотря ни на что, — жалуется один из инспекторов этих концентрационных лагерей, — процентов двадцать населения склонны, по нашим наблюдениям, помогать террористам...»

«Несмотря ни на что» вот что означает... Перед выходом и входом в лагерь всех тщательно обыскивают. В опоздавших к закрытию ворот стреляют без предупреждения. Подозреваемых ссылают в отдаленные места или отправляют в тюрьмы. В тюрьмах многие исчезают без вести или же их казнят вполне официально. По свидетельству уже упоминавшегося журнала «Тайм», «пытки черных в Родезии стали почти обыденным делом как в полиции, так и в органах безопасности. Они включают в себя избиение, электрошок с помощью электродов и аппаратуры, применяемой на скотобойнях, подвешивание в ваннах с водой... По меньшей мере 700 политических заключенных содержатся в тюрьмах Родезии по десять и более лет».

Родезия прекрасная земля. Богатая и красивая. И жизнь белых поселенцев там не лишена приятности, несомненной обеспеченности и — даже в глазах много повидавших европейцев — очарования: ни тебе суеты, смога, шума, нервных стрессов... И можно даже понять некоторых родезийских «европейцев»: вот так вот взять и бросить этот рай, этот дом, эту работу. И тащиться куда-то на другой край света, чтобы снова устраивать свою судьбу... Все так. И не так. Ведь можно понять не только чувства сожаления, жалости к своей судьбе, но и чувства ненависти многих белых родезийцев: они-то сами прекрасно понимают, что благополучие их — прямое следствие несчастной, рабской жизни шести с половиной миллионов, по крайней мере, таких же, как и они, родезийцев [1].

А чего же хотят их черные, в нищете или тюрьмах живущие сограждане? Предоставим слово одному из лидеров освободительного движения, руководителю партии Союз африканского народа Зимбабве Джошуа Мкабуко Нкомо (ему 58 лет, из них десять последних он провел в родезийской тюрьме):

«Чего мы хотим? Ответ прост: мы требуем всего. Мы требуем положить конец расизму, сегрегации, апартеиду. Мы не стремимся к тому, чтобы белые покинули Зимбабве. Мы готовы работать вместе с ними, мы хотим склонить их к этому. Но если от нас потребуется сила, мы ее употребим. Мы терпеливы, мы ждали уже столько времени; теперь дело за белыми, за «европейцами», им решать их собственную судьбу... Мы хотим и будем по праву управлять этой страной...»

В марте этого года состоялись переговоры между Джошуа Нкомо и премьер-министром Яном Смитом. Основное требование национальных сил: принятие «права большинства», или, говоря другими словами, голосование по принципу «один человек — один голос». Результат — полный провал переговоров. Ян Смит остался на позиции самых оголтелых, готовых на все расистов. Многие ли «европейцы» разделяют эту позицию? Дать точный ответ трудно, но вот, к примеру, мнение одного из преподавателей университета в Солсбери, профессора Патрика Фейна:

«В целом сегодня студенты смотрят на мир более реалистично, чем их отцы, они чувствуют, что процесс «африканизации» остановить нельзя, что им придется или уехать из страны, или отказаться от мифа о расовом превосходстве. По правде говоря, многие уже уехали, в том числе и из-за нежелания надевать военную форму. Те, что остались, смотрят на вещи неоднозначно: одни сознают, что мы должны больше дать неграм, другие готовы до конца защищать белую власть в Родезии...»

Итальянский журналист Сандро Оттоленги провел летучее интервью белых прохожих на улицах Солсбери. Он задал им один деликатный вопрос: «Что вы готовы уступить африканцам?» Ответы были такие:

Солдат: «Все и немедленно. Чтобы завтра не было поздно».

Служащая: «Как можно меньше. Только чтобы выиграть время и успеть отсюда уехать».

Жена банкира: «То, что они требуют. Но не все. Они и так нас столько терпели».

Коммерсант: «Ничего. У них и так все есть. Единственно, чего они могут дождаться, так это пулеметных очередей».

Офицер в отставке: «У них нет прав чего-либо требовать. Мы дали им больше, чем требуется».

Кассир в банке: «Мы не должны уступать им, не должны ничего давать. У них и так всего хватает».

Студент: «Сейчас уже не время дарить. Настал их час. Но у нас есть оружие».

Служащий министерства: «Мы дали им цивилизацию. Где же чувство приличия, чего же им еще надо?»

Президент клуба: «Как можно меньше. Или все — только бы не было революции».

Бизнесмен: «Все — при условии, что мы сможем здесь остаться, жить в своих домах, на своей земле. Кому нужны кровавые войны!»

Как видите, расистские настроения, как, впрочем, и проблески трезвого подхода, характерны для представителей самых разных слоев белого общества Родезии.

...Американский журналист Ли Григгс тоже интересовался мнением «европейцев» об их судьбе в Родезии. Он вспоминает, как однажды, в апреле, сидел он в двухэтажном кирпичном доме семьи Джорджа и Джанет Смит и как в один прекрасный момент хозяин дома, адвокат, отпив глоток джина с тоником, обвел рукой пространство, вмещавшее и дом, и бассейн, и лужайку перед ним, и сказал: «Вы, приезжие, часто сравниваете нас, «европейцев», с пассажирами «Титаника» [1]. Ну что ж, может, вы и правы. Зато мы пойдем на дно первым классом...»

[1] *Кстати, на территории нынешней Родезии еще в X—XVI веках существовало развитое государство Мономотапа. Известны, в частности, развалины мощной крепости Зимбабве.*

[1] *В свое время самый большой и роскошный пассажирский трансатлантический лайнер. Затонул в 1912 году в первом же рейсе после столкновения с айсбергом. Почти все пассажиры погибли.*

РАСИЗМ: РАДИ ЧЕГО? ПРОТИВ КОГО?

Вы прочитали два материала о двух странах — ЮАР и Родезии, последних защитниках расизма на африканской земле. Сегодня в мире нет ни одной официальной организации, ни одного официального, на уровне государственного представительства деятеля, которые открыто поддерживали бы внутреннюю политику сегрегации и апартеида, исповедуемую этими странами. Причина здесь проста — порядки, установленные в этих государствах, противозаконны. Дело дошло до того, что премьер-министр ЮАР Форстер стал выражать недовольство твердокаменной позицией своего коллеги Смита. Форстер понимает, что, если он останется в одиночестве (а такая угроза более чем реальна) против всей остальной свободной Африки, против мирового общественного мнения, ему также долго не протянуть. В ЮАР соотношение белого и африканского населения составляет один к пяти, намного разительнее соотношение в доходах этих двух групп. И вот ЮАР, ассоциирующаяся в умах людей с надписями «только для белых» и жестокой эксплуатацией африканцев, решила сделать «гигантский прорыв» к демократии. Форстер согласился предоставить в скором будущем «независимость» созданным им бантустанам (то есть территориям, определенным для жительства тому или другому племени). Форстер согласен на то, чтобы вожди племен, они же в будущем премьер-министры, сами определяли, как и чем мотыжить собственную землю, сами учили и кормили своих детей. Но не более того. «Свободу» такого же образца он собирается предоставить и Намибии — огромной, богатой золотом территории, незаконно (это подтверждает и решение ООН) захваченной ЮАР.

Ян Смит и на такие игры в демократию пока не согласен. Напомним, что «независимым» расистский режим белого меньшинства провозгласил себя в одностороннем порядке в 1965 году (ранее страна была колонией Великобритании), а в 1970 году белое меньшинство проголосовало за то, чтобы в дальнейшем называть страну республикой. Ну а с порядками, установленными в этой республике для меньшинства и колонии для большинства, вы могли познакомиться, прочитав помещенный выше очерк.

С другой стороны, и режим Форстера никого не может обмануть своей демагогией о «постепенном движении к демократии». Чего стоит эта болтовня, показали страшные, кровавые события, происшедшие в пригороде Иоганнесбурга, Соуэто, в других африканских гетто. К концу июня за несколько дней волнений расисты зверски расстреляли 176 человек и 1139 ранили. По многим странам мира прокатилась в те дни волна гнева и возмущения варварством расистов, волна осуждения их тайных и явных покровителей.

Чем же объяснить, что противозаконные режимы ЮАР и Родезии до сих пор держатся у власти? Прежде всего, разумеется, тем, что они опираются на силу собственных армий и полиции, жестоко расправляющихся с любыми выступлениями против расовой дискриминации, и той, чаще всего негласной, но существенной поддержкой, что оказывают им могущественные монополии и связанные с ними политические силы. Осуществляемый в широких масштабах импорт родезийского хрома в США, массированные американские капиталовложения в экономику ЮАР (в 1974 году — последние данные — сумма капиталовложений США в ЮАР достигла 1457 миллионов долларов), создание ядерного потенциала ЮАР, широкая продажа обеим странам оружия — вот что стоит за словами о верности принципам демократии и осуждения расизма.

Однако вал освободительной борьбы, продвигающейся все дальше на юг Африканского континента, не остановить ни с помощью «демократических» маневров Форстера, ни запугиваниями расистов Смита, ни поддержкой монополий. Все чаще приходят сообщения о развертывающейся партизанской борьбе в ЮАР, Намибии, Зимбабве (так называют свою страну патриоты нынешней Родезии). И каждая победа в этой борьбе — шаг к свободе, и каждая жертва в этой борьбе — урок мужества и веры. Не робость и панику, а твердость и готовность к борьбе рождает даже гибель таких героев, как коммунист Брам Фишер.

...Начиная с 1960 года на карте Земли каждые три месяца и шесть дней появляется новое независимое государство. Если в 1945 году в Организации Объединенных Наций было представлена 51 страна, то теперь их 144. Эра колониализма подошла к своему завершению. Недалек час, когда та же судьба постигнет и временщиков-расистов ЮАР и Родезии.

СКОЛЬКО КАРЛИКОВ В ВЕЛИКАНЕ?

М. СТУРУА

Как выглядит американский супермен — сверхчеловек образца 1976 года? Держу пари — не догадаетесь.

Начнем с того, что родители американского супермена — их двое — отнюдь не детины саженного роста, да еще с бугрящимися, как у мифологического Антея, бицепсами. Это пожилые люди — обоим за шестьдесят — больные, бедные, безработные. Первого зовут Джозеф Шустер. Живет он в Нью-Йорке. Второй — Джерри Сигель из Лос-Анджелеса. Оба художники. Сорок с лишним лет назад — в 1933 году, когда Соединенные Штаты только-только начали отходить от судорог великой депрессии, Шустер и Сигель создали персонаж для комиксов: газетного репортера, по имени Кларк Кент. Как только где-нибудь совершалась несправедливость и порок подымал голову (или головы, если он был гидрой), благородный репортер немедленно заходил в ближайшую телефонную будку, превращался в супермена и летел — это было просто, у него отрастали крылья — «на бой с жестокой судьбой». Справедливость, разумеется, торжествовала; порок, разумеется, карался.

Художники продали своего супермена — в Америке супермены продаются — издательству «Детектив комикс, инкорпорейтед». Продали по дешевке — за десять долларов на двоих. Но вспомним, время было тяжелое, привередничать не приходилось. К тому же художники были молоды и легкомысленны. Они верили в будущее и оптимистически глядели вперед. (Впоследствии выяснилось, что недоглядели.) «Детектив комикс, инкорпорейтед», приобретшее авторские права на супермена, стало издавать журнал «Экшн комикс», на страницах которого из номера в номер рассказывалось о похождениях репортера-сверхчеловека. Популярность супермена росла прямо пропорционально объему его бицепсов. Он успешно, хотя и бесцеремонно, расталкивал толпы диснеевских героев, шагнув с журнальных страниц на телевизионные экраны и поточные ленты мультипликашек. Издатели и продюсеры зарабатывали на нем десятки миллионов долларов.

Шустеру и Сигелю это почему-то показалось несправедливым. Сидим, мол, на пиру всеамериканского просперити, а чаша изобилия минует нас; по усам, мол, течет, а в рот не попадает. Художники подали в суд на «Детектив комикс, инкорпорейтед». Денег они, конечно, не получили. В свою очередь, издательство решило покарать дерзких и покарало — уволило в два счета с работы. Потянулись долгие годы судебной волокиты и безработицы, хождения по судам и биржам труда. Как раз в прошлом году дело дошло до федерального апелляционного суда. Художники снова проиграли. Оставалась последняя надежда — Верховный суд США. Но адвокаты отсоветовали художникам тягаться с главными жрецами американской Фемиды, трезво решив, что подобный подвиг не по плечу безработным гераклам.



Супермен-76. Как выглядит он сегодня? И не только в рисунках современных Шустеров и К°, но и в реальной жизни, в экономике, политике? Ведь правоверной американской душе всегда были дороги не только крылатые, а потому несколько мифические супермены, но и реальные супергерои, мановением руки решавшие судьбы страны и всего мира. Их пожелтевшие фотографии, их крылатые слова канонизированы временем и безумным желанием остановить уходящее мгновение. Тщетно. «Когда великие организации нашего мира подвергаются чрезмерной нагрузке, их структура часто рушится одновременно во всех местах. Не на чем строить политику, какой бы мудрой она ни была; нет почвы, на которой могли бы процветать добродетель и мужество; и даже гений не сможет спасти мир, ибо у него не будет ни авторитета, ни стимула».

Слова эти принадлежат одному из самых знаменитых политических суперменов западного общества, Уинстону Черчиллю. Правда, ему не удалось задержать распад Британской империи, зато он стал основателем империи новой, идеологической. Импе-

рии «холодной войны», где первейшая роль отведена американским политическим суперменам.

На исходе прошлого года лондонский журнал «Экономист», по свидетельству обозревателя Джеймса Рестона, «самый сдержанный и проамериканский из всех заграничных изданий», писал следующее: в первые два столетия промышленного прогресса правили две великие империи — английская в 1776—1876 годах и американская в 1876—1976 годах. О конце правления первой империи возвестили «симптомы отхода от динамизма» Англии в 1876 году. И вот «Экономист», «самый сдержанный и проамериканский из всех заграничных изданий», с тревогой обнаруживает аналогичные симптомы в 1976 году у Соединенных Штатов и с не меньшей тревогой предупреждает, что «руководящая роль в мире может перейти в новые руки уже в начале столетия — 1976—2076 гг.».

Оставим в стороне научную корректность классификации истории, предпринятой «Экономистом». Она страдает весьма существенными изъянами. Но вот инстинкт, засекающий, как пеленг, симптомы заката мира капитализма, срабатывает у «Экономиста» безотказно. Впрочем, в наши дни для этого не надо быть ни оракулом, ни доктором философии, ни экономистом без кавычек. Вполне достаточно читать прессу, даже самую что ни на есть сдержанную и проамериканскую, или просто внимательно и непредвзято приглядываться к текущим событиям, к так называемой злобе дня.

Американский философ Сантаяна любил повторять, что все проблемы делятся на две категории: тривиальные проблемы, которые поддаются решению, и важные проблемы, которые неразрешимы. Так вот, проблемы, стоящие на пути бегущего к телефонному диску супермена или перед суперменом, вращающим куда менее безопасные диски, из рода неразрешимых. Дело в том, что «чрезмерные нагрузки», о которых говорил Черчилль, уже не по плечу капиталистическому супермену ни в социальной, ни в экономической, ни в моральной областях.

Люди, пережившие кризис конца двадцатых — начала тридцатых годов, утверждают, что, несмотря на весь его драматизм — крах фондовой биржи, эпидемию самоубийств и так далее, — в их сердцах жила, теплилась надежда. Кризис казался стихийным бедствием, вроде тайфуна. Налетел, накуролесил и сгинул. Конечно, судно получило повреждения — сломались мачты, порваны паруса, кое-где течь. Но все это поправимо. А главное — есть надежда, что придут новые капитаны и все будет о'кэй.

Сейчас не то. Сломались не мачты, а надежды. Течь не в трюме, а в вере. А капитаны? Что капитаны? Сейчас никто не поверит в чудотворца Моргана [1], который согласно мифологии Уолл-стрита мог вызывать бум на бирже простым перекатом сигары из левого уголка губ в правый. Сейчас никто не поверит в чудотворца Баруха [2], сидевшего по обыкновению на скамеечке в парке Лафайет-сквер, как раз напротив Белого дома, в ожидании президентов, которые имели обыкновение бегать к нему за спасительными советами. Ныне моргановские сигары и баруховские советы не производят впечатления даже на читателей «Экшн комикс». Оптимист экономист — такая же чепуха, как швейцарский адмирал.

Вспоминается невеселая шутка министра финансов США Уильяма Саймона, лицо которого даже в самые тяжелые минуты дышит деловитостью и энергией: «Спад — это когда безработным становишься ты. Депрессия — это когда безработным становлюсь я». Так вот, пара наших бедных родственников суперменов живет в состоянии перманентной депрессии — с начала тридцатых годов до второй половины семидесятых. И таких, как они, — миллионы.

Выше мы цитировали рассуждения лондонского «Экономиста» о закате двух «великих империй». Я позволю себе несколько развить проводимые этим журналом параллели. В конце прошлого года «трест мигреней» (есть на Британских островах и такой) опубликовал весьма любопытные данные. Оказывается, потребление лекарств от головной боли членами парламента на восемнадцать процентов больше, чем в среднем по стране. Теперь пересечем Атлантический океан. Выступая по поводу очередного инфляционного бюджета в новом году, президент Форд вспомнил своего предшественника Трумэна, который охарактеризовал бюджет на 1953 год как «самую ужасную головную боль за всю мою жизнь». Напомнив, что трумэновский бюджет составлял всего лишь семьдесят миллиардов долларов, а его угрожающе перевалил за триста, Форд воскликнул:

— Хэлло, Гарри, я надеюсь, что ты оставил мне хоть немного аспирина!

Президент, разумеется, тоже говорил полусерьезно-полушутливо...

Но вот когда речь заходит о лечении экономических недугов «великих империй», их капитаны, отбросив шутки в сторону, прописывают своим подданным не аспирин, а безработицу. Потеть так потеть. Но не от труда, а от невозможности занять трудом свои руки и мозг.

Американцы говорят: «Ты выглядишь на миллион долларов». Психологически выглядеть хорошо не менее важно, чем быть. Помоему, качественное отличие нынешнего экономического кризиса, потрясающего капиталистическую систему, от кризисов прошлых как раз в том и состоит, что мир «свободного предпринимательства» уже не может прикидываться счастливым, не может верить в будущее или хотя бы выглядеть верующим, этаким надувным, как диснеевские куклы, бодрячком, который улыбается через спазматическое «не могу», обнажая ослепительной белизны зубы... вставные.

Сравнительно недавно журнал «Тайм» взял интервью у вице-президента Соединенных Штатов Нельсона Рокфеллера. «Рокки» по традиции считается одним из самых «оптимистических парней» в американской политике, а его улыбка — каноническим знаком качества удачливости. Вот интересное место из интервью:

— Что вы думаете о рабочем автомобилестроителе из Детройта? Имеет ли он, например, какие-либо причины для оптимизма?

— А почему бы и нет? Ведь он живет в Америке. Он просто счастливый парень...

Невольно вспоминается другое интервью, взятое Марком Твеном у стального короля Америки Эндрю Карнеги по аналогичному поводу.

— А почему бы и нет, — ответствовал магнат писателю, — ведь мы живем в христианской стране.

— Полноте, Эндрю, ведь это относится и к аду. Но мы же не похваляемся этим, — саркастически парировал писатель...

Досужие американские журналисты подсчитали количество часов, которые отводили на сон их президенты, и вывели любопытную закономерность: количество часов, посвящаемых Морфею, неуклонно уменьшается. Если президент Теодор Рузвельт спал четырнадцать часов в сутки, то президент Форд — всего пять. Оно, конечно, понятно. У первого была большая дубинка [1] — великолепное снотворное! У второго — большие заботы, вызывающие бессонницу и головные боли. В редакционной статье «Нью-Йорк таймс» мы читаем: «Форд напоминает работника спасательной станции, который пытается спасти утопающего, барахтающегося в воде в ста футах от берега, бросая ему веревку длиной в пятьдесят футов».

Экономист Эмма Ротшильд — подходящая фамилия! — недавно написала книгу под заглавием «Потерянный рай: упадок постиндустриальной эпохи», то есть той самой эпохи, наступление которой с фанфарами возвестили миру западные профессора и политики. Но вот эпоха, только-только наступившая, уже клонится к упадку. В чем же дело? Вслед за «Экономистом» Ротшильд сравнивает судьбы двух «великих империй»; правда, пользуется при этом иными критериями. Она считает символическим «упадок и даже возможное вымирание» автомобильной промышленности в США, проводя параллель с судьбой, которая постигла текстильную промышленность Англии в прошлом столетии.

Общеизвестна опасность параллелей. Можно поскользнуться и на упрощениях. Кризис текстильной промышленности Англии девятнадцатого века, разумеется, не привел к тому, что современные британцы щеголяют в шкурах животных (меха не в счет!), а спикер палаты общин уже не сидит, как того требует традиция, на мешке, набитом шерстью. Кризис автомобильной промышленности современных Соединенных Штатов также отнюдь не означает, что американцы становятся нацией вынужденных пешеходов. И в данном случае на первом плане психологический фактор, суть которого можно охарактеризовать вкратце заголовком одного из рассказов Хемингуэя «Что-то кончилось».

Что же? Сталь, резина, пластмассы, конструкторский гений? Нет. Иссякла вера. Еще совсем недавно мемуары одного из создателей крупного автомобильного концерна США — я имею в виду книгу Слоана «Мои годы в «Дженерал моторс» — можно было найти в семье любого американца, как библию в спальной тумбочке любого номера американского отеля или мотеля. Сейчас в мемуары супермена Слоана, добившегося и славы, и финансового успеха, заглядывают столь же редко, как и в библию. (Статистика свидетельствует об удивительно резком снижении посещаемости церквей американцами.)

Обратимся теперь к политике и вспомним инаугуральную [2] речь президента Джона Фитцджеральда Кеннеди. Она выглядела разросшейся до гомерических размеров доктриной Монро [3], эдакой суперавоськой, со-

---

[1] *Джон Пирпонт Морган — основатель крупнейшей в США финансовой империи.*

[2] *Бернард Барух — финансист и политический деятель, был советником нескольких американских президентов.*

[1] *«Политика большой дубинки» — так называли империалистический курс, проводившийся Теодором Рузвельтом в отношении латиноамериканских стран.*

[2] *Речь, произносимая вновь избранным президентом США при официальном вступлении в должность.*

[3] *Декларация принципов внешней политики США, провозглашенная президентом Дж. Монро в 1828 году. Согласно этой доктрине обе части Американского континента являются зоной влияния США.*

тканной из меридианов и параллелей, в которую молодой властитель замка Камелот на Пенсильвания-авеню лихо, по-молодецки запихивал весь земной шар. Его устами американский супермен заявлял о своем божественном праве лететь куда угодно и когда угодно, чтобы кроить и перекраивать мир по своему образу и подобию.

Но мир не детский резиновый и раскрашенный мячик в сеточке. И вопреки утверждению Наполеона, что большие батальоны всегда правы, радиус действия ракет не всегда адекватен радиусу влияния политического, а тем более морального и тем более в условиях, когда ты не единственный обладатель подобных ракет. В интервью, данном корреспонденту французского журнала «Экспресс», в роли которого по иронии судьбы выступал бывший пресс-секретарь президента Кеннеди Пьер Сэлинджер, государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер сказал: «Когда я оглядываюсь назад, я считаю, что период Кеннеди был периодом последних вспышек прошлой эпохи, а не началом новой. Это не критика, а всего лишь констатация факта».

Да, факты — упрямая вещь. Но ведь для американского супермена никогда не существовало ничего невозможного! Вот и представьте, какая огромная психологическая ломка происходит в его сознании. Когда Парижская мирная конференция 1919 года только-только начала разыгрывать свою увертюру, кто-то намекнул американскому президенту Вудро Вильсону, что ему было бы полезно полистать справочник, составленный для английской делегации Уэбстером, в котором были собраны исторические примеры, иллюстрировавшие успехи политики равновесия сил. Американский президент категорически отказался от этого совета, сопроводив свой отказ презрительными замечаниями в адрес подобной политики. Как давно это было! Теперь, после совещания в Хельсинки, кажется, что с тех пор прошло не полвека «с довеском», а целое тысячелетие.

Листаю скопившееся в моем архиве досье выступлений Киссинджера за прошлый год.

Апрель. Интервью журналу «Экспресс»: «Проблема заключается в том, что весь западный мир... страдает от политического беспокойства, от утраты веры в себя и отсутствия руководства... Мы оказались без мандата... Когда какая-либо страна в течение десяти лет участвует в широком мероприятии [1], которое отнюдь не является успешным, то это порождает вопросы относительно ее здравого смысла, ее мудрости и ее силы. А также и вопросы относительно воздействия этой неудачи на психологию этой страны...»

Июль. Выступление в Миннеаполисе в совете северных штатов Среднего Запада: «Вот уже почти целое десятилетие силы нашей страны подтачиваются неуверенностью и распрями. Мы стали сомневаться в наших добродетелях и испытывать неуверенность насчет общего нашего направления главным образом потому, что мы внезапно поняли, что, как и другие страны до нас, мы должны сейчас примирять наши принципы с нашими потребностями... Тридцать лет экономической и политической эволюции привели к новому рассредоточению мощи и инициативы... Наше стратегическое превосходство уступило место ядерному равновесию. Наше политическое и экономическое главенство уменьшалось по мере того, как росла сила других и возрастала наша зависимость от мировой экономики. Рамки нашей безопасности сузились. Сейчас мы видим, что мы, как и большинство других стран в истории, не можем ни уйти от остального мира, ни господствовать в нем...»

Вот такие перепады. Сравнительно недавно у американского империализма была монополия на атомную бомбу, и американские президенты советовались с Барухом, сидевшим на скамеечке парка Лафайет-сквер, о том, как увековечить эту монополию, а последний в ответ разработал план, получивший его имя. Совсем еще недавно вытянутый гигантским спичечным коробком небоскреб ООН на Ист-Ривер казался Вашингтону каучуковым штемпелем, который американский «отец Пафнутий» к международным делам прикладывал. Западный мир гнул спину перед зеленым долларом, а третий мир — перед «зелеными беретами». Американский обыватель был охвачен эйфорией, американская экономика — бумом, производя две пятых всех товаров и услуг в рамках капиталистического общества.

И вдруг все это рухнуло. Рухнула монополия на атомную бомбу и прочие опасные игрушки. Барух в конце концов не дотянул до бога Саваофа. Зеленый доллар познал желтизну далеко не золотой осени. «Зеленым беретам» дали по шапке, и в первую очередь во Вьетнаме. Бум сменился спадом, а эйфория — истерией. Энергетический кризис 1973 года, эмбарго на поставки нефти и повышение цен на нее произвели на Запад отрезвляющее впечатление. Выяснилось, что западный мир импортирует уже не пять процентов своих энергетических потребностей, как это было в 1950 году, а почти сорок процентов, то есть он перестал контролировать поставки и цены одного из главных элементов своей экономики.

Как говорил веймарский мудрец Гёте, «паутина нашего мира соткана из необходимости и изменений». Эта паутина ничем не напоминает сотканную из меридианов и параллелей суперавоську, в которую хотел запихнуть земной шар Джон Кеннеди. Американцы, составляющие шесть процентов населения нашей планеты, теперь понимают, что они не могут диктовать свою волю и образ жизни всему человечеству, что американский орел, изображенный на гербе, не курица-несушка, под крылом которой, словно яичко, примостился земной шарик в ожидании, когда из него наконец вылупится Pax Americana — мир по-американски.

Да, такое даром не проходит. И это справедливо не только в отношении правящих кругов, но и американцев вообще. Первые вынуждены пересматривать свою политику, вторые — так называемое mentality, то есть умонастроения.

Теперь паспорт американца берут не кланяясь и не как чаевые, как писал об этом в свое время Владимир Маяковский. Когда в период недавних финансовых бурь американским туристам, путешествовавшим по Западной Европе, отказывали в обмене долларов и погашении чеков «Америкэн-экспресс», то это было для них равноценно светопреставлению, Пирл-Харбору [1], падению Сайгона, короче, крушению пульмановского экспресса американизма, пассажиры которого только себя считали стопроцентными обитателями этой планеты, а всех остальных — кондукторами, проводниками, стрелочниками, носильщиками. Пульмановский экспресс американизма начал отставать, буксовать, выбиваться из графика. Перед глазами его пассажиров проносятся иные пейзажи, иные ландшафты. «Мир изменяется быстрее, чем мы можем изменить самих себя или наши институты... Старые идеологии и деятели клонятся к закату... Руководство нынешнего правительства и нынешнего конгресса разваливается... Кандидаты на пост президента пытаются решить наконец тактические проблемы настоящего и будущего, а эти проблемы настолько сложны и запутанны, что они не вполне понимают, как к ним подступиться», — пишет Джеймс Рестон в «Нью-Йорк таймс». (Статья под заголовком «Лицом к суровой реальности».)

В этой статье Рестон цитирует слова знаменитого американского писателя Дос Пассоса: «В моменты перемен и опасностей, когда в подсознании человека колеблются зыбучие пески страха, чувство связи с ушедшим поколением может «как спасательный трос» протянуться через пугающее настоящее». Куда же кидают этот трос? Каких предков призывают в помощь? Джорджа Вашингтона или Джозефа Маккарти? Бена Франклина или Хью Лонга? Великое наследие или позорный балласт? Увы, Рестон констатирует, что речь скорее идет о втором. Он пишет, что из чувства неуверенности извлекают выгоду «определенные и агрессивно настроенные в идеологическом плане политические деятели вроде губернатора Алабамы Джорджа Уоллеса и бывшего губернатора Калифорнии Рональда Рейгана. У них нет политических программ на будущее... Они призывают нас назад...»

«Назад» Уоллеса и Рейгана — это уже не игра в ностальгию, столь модную сегодня в жизни и искусстве, а игра с огнем. Их демагогические проповеди опасны не сами по себе. Опасно то, что зубы дракона падают на благодатную почву, разрыхленную и обогащенную инфляцией, спадом, безработицей. «Инфляция — это ужасное, ужасное бремя. Именно главным образом инфляция заставила огромные массы людей в Веймарской республике потерять веру. Мы сейчас беспрестанно слышим призывы к новому руководству, как это и имело место в Германии. И эти призывы все более и более начинают звучать так, словно люди хотят человека на белом коне, диктатора. Я не собираюсь утверждать, что у нас будут семь дней в мае [1]. Я хочу сказать лишь то, что, возможно, мы поступаем не самым мудрым образом». Это из политического завещания сенатора Фулбрайта.

Нельзя не согласиться с Фулбрайтом, что до семи дней в мае Соединенным Штатам еще порядком далеко. Но, с другой стороны, нельзя не согласиться и с тем, что американский супермен образца 1976 года так же похож на сверхчеловека, как его безработные создатели на преуспевающего янки.

Ныне иные ветры веют над нашей планетой. И надувают они паруса корабля иной социальной конструкции, корабля, команда которого состоит не из суперменов, а из людей свободного труда, не из сверхчеловеков с большими бицепсами, а из людей с большой буквы.

---

[1] *Имеется в виду агрессия во Вьетнаме.* (*Ред.*)

[1] *Имеется в виду неожиданное нападение в 1941 году японцев на флот США, находившийся в Пирл-Харборе. С тех пор выражение «Пирл-Харбор» используется в качестве синонима внезапного шока.*

[1] *Намек на фантастический роман «Семь дней в мае», сюжет которого — попытка реакционного военного переворота в США.*

Е. КАРАСЕВА





Время действия: март 1976 года.

Место действия: Москва, гостиница «Россия».

В холл спускается человек в вельветовой куртке, в длиннющем шарфе, небрежно обмотанном вокруг шеи. Крепко жмет мне руку. Потом жмурится, глядя на играющие на полу солнечные зайчики, и предлагает:

— Давайте выйдем на улицу. Будем разговаривать и гулять. А то репетиции, спектакли. Совсем не успеваешь хоть немного подышать воздухом.

Мы идем по городу. На глаза «подворачивается» афиша: «Гастроли французского драматического театра «Компани Мадлен Рено — Жан-Луи Барро». Мой спутник слегка замедляет шаг и, кивая в ее сторону, говорит:

— Ну вот, снова наши афиши, как четырнадцать лет назад. — Поежился — мартовский ветер. — А хорошо! И публика к нам хорошо ходит, не изменилась, отличная публика.

А он сам? Очень изменился? Вглядываюсь в давно знакомые черты. Нет, все тот же стремительный жест, молодая улыбка. Все та же мальчишечья шевелюра, придающая лицу упрямое выражение. Мне вспоминается другая весна и другой город...

1968 год. Париж. Бурлит Латинский квартал, охваченный невиданными доселе студенческими волнениями. Радио ежечасно передает сообщения: «Площадь перед Сорбонной оцеплена полицией», «Власти отдали приказ разогнать начавшуюся демонстрацию», «Идут баррикадные бои...» И еще одна информация: «Студенты захватили национальный театр Одеон (расположен неподалеку от Сорбонны. — *Е. К.*). Спектакли отменены. Театр превращен в дискуссионный клуб. Его руководитель, известный режиссер и актер Жан-Луи Барро, принял участие в дискуссии, заявив, что понимает настроения «свергнувшей» его молодежи...».

Да, в те напряженные дни Барро, как говорили потом, «поступил безрассудно», поверив в искренность протеста молодых, в само их право на протест против устоев взрастившего их и их же калечащего общества. Он понял. Зато его не поняли «наверху», в министерских кабинетах. И когда отгремели с подмостков «оккупированного» театра пламенные (и, как мы помним, подчас очень наивные) речи, когда поутихла буря, директору Одеона было сообщено, что его благодарят за услуги и отныне в них больше не нуждаются. И вот у прославленной на весь мир труппы, десятью годами раньше «одаренной» одной из лучших государственных сцен, дар этот сердито забрали назад.

— Конечно, то была трагедия, — говорит Барро. — Представьте себе: репертуар, планы на год вперед, субсидии. И вдруг — ничего. Даже костюмы и декорации приткнуть негде. Но сегодня, на расстоянии, я об этом крутом повороте думаю без горечи. Он послужил испытанием для труппы, встряской. Кое-кто не выдержал, ушел. Зато те, что остались — главным образом молодежь, любящая риск и интуитивно даже жаждущая трудностей, — сплотились еще больше и готовы были горы свернуть ради того, чтобы выжить, «вынырнуть» всем пессимистам назло.

— В книге «Размышления о театре», написанной в 1958 году, у вас есть такая пророческая фраза: «Я предвижу дни, когда нашему любимому театру придется — из-за новых порядков — ютиться в ригах, сараях, одним словом, где угодно, только не под крышей театра».

Он смеется:

— Как видите, морально мы себя давно подготавливали к судьбе бродяг. — И уже серьезно продолжает: — Заповедью нашей с Мадлен Рено труппы издавна была мобильность, умение постоянно находиться «на чемоданах». Всегда быть готовыми сняться с насиженного места и отправиться в путь, не отдавая себя на съедение славе, комфорту... Нам, кстати, и раньше много приходилось кочевать из одного помещения в другое. Ну, а с потерей Одеона изменился фактически только класс, которым мы кочевали. Раньше первым, теперь третьим. Поначалу мы устроились в расположенном у подножия монмартрского холма зале для соревнований по кетчу — американской борьбе. Он и вправду очень напоминал сарай с рингом посредине. Но выбирать не приходилось. Мы и этому были безумно рады. Кетч так кетч. Ринг так ринг. И спектакли новые стали ставить сообразно новым пространственным условиям. Именно здесь наконец я взялся за осуществление давнишней мечты: создание театральной композиции по Рабле и о Рабле. И вы знаете, нет худа без добра. Неказистый зал-сарай дал такой простор нашему воображению, такие возможности для передачи пантагрюэлевского духа, каких не дала бы ни одна самая совершенная сцена. Мы вдруг ощутили себя ярмарочными комедиантами, скоморохами. А только так и можно играть Рабле... Да, так вот и жили, время от времени выезжая на гастроли, чтобы «подлатать» финансовые дыры.

— До тех пор, пока не родилась идея с вокзалом д'Орсэ?

— «Безумная идея» — так, если помните, ее не замедлили окрестить газеты...



Как и двадцать лет назад Жан-Луи Барро верен любимой роли Христофора Колумба. Правда, теперь — двадцать лет спустя — «...себе пришлось оставить лишь Колумба в старости», — говорит Барро. Прежде он вел всю роль. Сейчас молодого Колумба играет молодой артист «Компани» Лоран Терзиев.

Еще бы не помнить. Только узнала я о ней впервые не из газет, а от самого Барро...

Это было примерно четыре года назад. Известному французскому поэту и шансонье Ги Беару предстояли гастроли в ряде наших городов. К нам он ехал впервые. Страну не знал, людей не знал и очень волновался. И вот в качестве предварительного знакомства решил собрать у себя советских журналистов, работающих в Париже. А с «французской стороны» пригласил своих друзей-артистов, которым случалось бывать в Советском Союзе. Пришли туда и Мадлен с Жаном-Луи. Он — в неизменной «униформе» — темной рубашке в ромбик, напоминающей ковбойку. Она очень просто и изящно, «по-французски» одетая, с крошечным пуделем на поводке. Вечер в этом симпатичном загородном доме получился интересный и веселый. Разумеется, прежде всего и больше всего говорили о нашей стране. У Беара была масса вопросов: как встретят, пойдут ли, много ли знающих французский язык? Мы наперебой отвечали. Особенно горячо говорил Барро. Буквально, что называется, «завелся», когда начал вспоминать о своем первом приезде в Москву и Ленинград: «Да какой там языковой барьер! Он для того и существует, чтобы его преодолевать. У них потрясающе талантливая публика — реагирует на юмор, иронию мгновенно и точно. Почти весь свет объездили мы с Мадлен, а подобного больше нигде не встречали. Так что завидуем тебе и ждем не дождемся своей «очереди».

Потом пели. Хором и соло. Русские и французские песни. А потом кто-то невзначай поинтересовался у Барро: «Скоро ли новоселье?» Тут я и услышала этот удивительный рассказ. О том, как, проходя мимо старомодного помпезного здания вокзала д'Орсэ, погрузившегося в летаргический сон (он расположен в самом центре Парижа и потому давно уже обслуживает лишь несколько пригородных линий), Мадлен и Жан-Луи впервые подумали: «А что, если здесь?» О том, как преодолевали бесконечные административные преграды, добиваясь разрешения на переоборудование зала ожидания в зрительный зал, перрона — в театральное фойе. Как вели переговоры с начальником вокзала, упрашивали его согласиться «подгонять» расписание поездов так, чтобы они не мешали спектаклям...

Увлекся Барро, делясь с нами всеми этими хлопотами и близкими уже к исполнению надеждами, необыкновенно. Да и Мадлен тоже — хотя по темпераменту куда менее экспансивна, даже неотлучный пудель был временно забыт и потерянно расхаживал среди гостей... Глядя в тот момент на этих людей, трудно было поверить, что у каждого за плечами десятилетия театрального стажа. Что он 32 года назад, уже сложившимся актером и режиссером, прошедшим прекрасную школу в театре «Ателье» у знаменитого Шарля Дюллена, был принят в «Комеди Франсез», где она к тому времени была «старожилом» и играла ведущие роли. Что шестью годами позже они вместе — муж и жена — бросили вызов «Дому Мольера», покинув его в период, когда, казалось, все здесь складывалось для них как нельзя более удачно, и основали свою, независимую труппу. Что вскоре благодаря как театру, так и кино к ним пришли признание, уважение, мировая известность... Не верилось, потому что они жили не своим «славным прошлым», а были целиком устремлены в будущее. Только о нем и думали. И оттого казались самыми молодыми среди присутствующих.

— При создании театра д'Орсэ у вас возникли серьезные финансовые проблемы. Как удалось их разрешить? (Это я спрашиваю уже сейчас, шагая с Барро по Москве.)

— Во-первых, помогли друзья. Мы тогда убедились, что у нас их немало. Даже среди строительных подрядчиков обнаружились заядлые театралы, вызвавшиеся работать если не совсем даром, то за минимальную плату. Впрочем, мы сами, актеры, тоже превратились в те дни в строителей. Мне же лично при разработке проекта очень пригодилось мое математическое образование. Во-вторых, помог... Пикассо. Была у нас с Мадлен одна его картина. Как мы ею ни дорожили, пришлось продать. Но, думаю, наш любимый художник не был бы на нас в обиде, понял бы. Ну и, наконец, помог наш вечный миллион.

— Миллион?

— О, это целая история! Когда мы покинули «Комеди Франсез» и отправились в самостоятельное плавание, у нас была вполне определенная цель — создать не просто постоянную труппу, но театр с регулярно обновляющимся репертуаром независимо от успеха или неуспеха идущих спектаклей. Раньше такое было по плечу только «Дому Мольера», находящемуся на государственной дотации. Остальные же частные парижские театры работали как? Нашел директор пьесу, пригласил по своему усмотрению режиссера, тот пригласил актеров. Отрепетировали. Выпустили. Если билеты продаются хорошо, играют из вечера в вечер, из месяца в месяц, из года в год. Одним словом, покуда зритель ходит. Если плохо — срочно снимают, «команду распу-

скают», ищут другого автора. И все повторяется сначала. Так вот мы решили стать исключением из правила. Кроме того, мы хотели, создавая свой репертуар, совмещать непременно два элемента — классику и современность. Хотели объединять, сталкивать разные жанры, наряду с «верняком» браться за новое, иметь право пробовать и... ошибаться. В общем, многое хотели. А для этого нужно было много денег. Благо приглашали сниматься в кино. Гонорары от съемок и образовали тот самый миллион франков, который мы вложили в наше «предприятие». Благодаря симпатиям публики он довольно быстро вернулся в нашу кассу. Мы вложили его снова — в новые постановки. С тех пор он так и продолжал «обращаться в ритме фаз луны». И даже несмотря на «кораблекрушение» 1968 года, опять-таки благодаря поддержке и доверию зрителей кое-что от него уцелело и пошло на строительство театра.

И вот наконец состоялось новоселье. «Компани Рено-Барро» — взвилась белая полотняная лента над почерневшим от времени фасадом вокзала. Под величественными сводами конца XIX века, как ядрышко в орехе, уместились деревянные стены нового театра: удобный полукруглый зал на 900 мест — для «фундаментальных» постановок, и другой, «карманный» — для творческой мастерской, фойе-музей, читальня и кафе. Не просто театр, а, как стали называть его сами создатели, место театральных встреч, куда можно было прийти задолго до «трех ударов» (которыми во Франции оповещают о начале спектакля), а уйти — часа два спустя после окончания, поужинав в кафе. Сюда же, в кафе, разгримировавшись, спускались актеры. Кто перекусить, кто просто выпить кофе и выкурить сигарету. А кроме всего прочего — познакомиться поближе со зрителями, ответить на их вопросы. Мне случалось там бывать — вопросы задавали в основном молодые люди. Обращались, конечно, по большей части к Барро: «Мсье Барро, чем объясняете слабость современной драматургии?» «Жан-Луи, мечтаю пойти на сцену, а все кругом отговаривают: «Трата времени, все равно работы не найдешь...».

Режиссер внимательно выслушивал, отвечал лаконично и четко. О драматургах: «Театр — зеркало жизни. Жизнь сегодня меняется так стремительно, что все труднее «ухватить» ее суть и найти соответствующую форму для ее передачи». Юноше, «обдумывающему житье»: «Да, среди актеров сейчас велика безработица. И в ней повинна прежде всего наша театральная, да и не только театральная, система. Однако у проблемы есть и другая сторона. В вас часто воспитывают мнение, будто стать актером ничего не стоит, будто актеры — народ, живущий легко, беззаботно. Один паренек, поступавший ко мне, заявил, что надумал это потому, что не умеет делать ничего иного. А другой и вовсе — «потому, что ленив от природы» (общий смех). Между тем труд наш тяжелый, требующий помимо таланта большого терпения, жертв, а главное — одержимости».

— Сохранилась ли традиция подобных встреч?

— Сохранилась. И успешно развивается. Собственно говоря, для таких вот разговоров и было создано наше кафе — ради того, чтобы постепенно ломать стену, которая искусственно воздвигнута между публикой и исполнителями. К тому же наша театральная критика крайне редко умеет доходчиво разъяснять смысл сложных драматических произведений, таких, как, например, «Христофор Колумб». И во время наших дискуссий мы пытаемся восполнить этот досадный пробел.

— Впервые пьесу крупнейшего французского драматурга конца XIX — начала XX века Поля Клоделя «Христофор Колумб», привезенную в этот раз на гастроли в Москву, труппа выпустила двадцать три года назад. А совсем недавно спектакль был возобновлен. Почему?

— Образ этого беспокойного человека в чем-то очень близок моему характеру и издавна меня притягивал своим романтизмом. Когда мы возводили в д'Орсэ стены будущего театра, я окрестил его «каравеллой» и стал подумывать о том, что надо бы непременно пригласить на борт старого знакомца — Христофора. Правда, время, которое не наложило ни малейшего отпечатка на пьесу, со мной обошлось несколько суровее. Так что пришлось любимую роль юного мореплавателя отдать другому актеру — Лорану Терзиеву, а себе оставить Колумба в старости.

— С первых шагов в театре, работая над Эсхилом или Чеховым, над Шекспиром или Фолкнером, вы сочетали в себе режиссера и исполнителя. Создает ли это сложности при подготовке спектакля?

— Несомненно. Но я давно уже нашел для себя способ их преодолевать. На первом этапе работы над пьесой «одалживаю» свою роль кому-то из актеров. Когда же «забираю» ее назад, то прошу товарищей, которым очень верю, заменить меня в режиссерском кресле и делать мне замечания. Вообще же для актера свойственно состояние раздвоенности: жить жизнью персонажа и, оставаясь собой, контролировать этот персонаж. Ну а тут получается просто «расстроенность»: контролируешь не только себя, но и все происходящее вокруг. Вылетая на несколько секунд за кулисы, я должен сделать замечания осветителю или звукооператору, при этом продолжая оставаться Гамлетом, Колумбом, Пьеро.

Он произносит имя Пьеро, популярного персонажа французской пантомимы, и в памяти тотчас возникает образ знаменитого мима конца XVIII века Гаспара Дебюро, созданный актером в фильме «Дети райка». Картина, обошедшая экраны многих стран, впервые раскрыла редкое дарование Барро-«молчальника». Он тут не просто воскресил традиционный народный жанр условного разговора с публикой, в котором обычно слово подменялось жестом. У него жест, мимика стали выражать то, что неподвластно слову: внутренний мир «маленького человека», находившийся в постоянном разладе с миром внешним, безжалостным и равнодушным миром удачливых буржуа. Позднее Пьеро с экрана перебрался на сцену. Автор сценария фильма, поэт Жак Превер, написал на его основе пьесу специально для только что родившейся «Компани Рено-Барро», которая выпустила ее в числе своих первых работ. Потом подготовила две пантомимы. И на этом, к великому огорчению публики, остановилась. Почему?

— Мне-то было очень жалко расставаться с любимым персонажем. И я не раз пытался уговорить Превера продолжить совместную работу, создавать для нас новых «Пьеро». Увы, тщетно. А ведь сколько можно было бы через этот образ выразить, какие свидетельские показания, касающиеся нашего общества, мог бы он дать! Другие же авторы, пробующие создавать сюжеты для пантомимы, меня пока не удовлетворяют. Им никак не удается понять законы жанра. Если в балете, скажем, одна мысль может стать темой четырехактной постановки, то здесь четырехактная драма должна уложиться в получасовое представление.

— Однако Барро-мим не исчез, его присутствие ощущается во всех ваших ролях.

— Во мне действительно постоянно живет мим, и это ставится мне даже порой в упрек: дескать, слишком играю на умении владеть телом. Не знаю, возможно. Но ничего с собой не могу поделать. И в 65 лет испытываю какую-то детскую радость от движения, от жеста. И если исполняю басню Лафонтена, в которой змея высовывает язык, не могу удержаться от соблазна проделать то же самое.

— «Лафонтен для взрослых» — так называется поэтическая программа, которую вы недавно показали в малом зале театра д'Орсэ. Событие, видимо, тем более заметное, что, насколько мне известно, поэтические вечера — большая редкость в Париже.

— Совершенно верно — редкость. И этому есть свое объяснение. Вот вам пример: на премьере Лафонтена не было ни одного журналиста, хотя приглашения им были разосланы. И в газетах соответственно ни слова. Как ни парадоксально, но на родине Бодлера, Гюго, Верлена сейчас упорно насаждается мнение, что стихи — это нечто «сложное, заумное» и что вообще «можно прекрасно прожить без этого баловства». На поэзию наклеен ярлык нерентабельности, ей ставят барьеры директоры театров, продюсеры телевидения, пресса. Вместе с тем, когда барьеры эти удается сломать, видишь, насколько народ у нас испытывает потребность в поэтическом слове. Одно время мы с Мадлен на телевидении смогли организовать цикл воскресных стихотворных чтений. Они шли сразу после популярной спортивной передачи. И что вы думаете? Мои друзья были свидетелями того, как в пригородных кафе, где обычно собираются перед экраном местные работяги, чтобы сообща смотреть регби или футбол, они потом так же сообща, только уже при полной тишине, слушали нас... Никогда не забуду, как после одного из таких выступлений в Нормандии, на пляже, ко мне подбежал десятилетний мальчуган и, ткнув в меня пальцем, радостно закричал: «Смотри, папа, вот «Свобода» Элюара!» Что касается вашей страны, то здесь просто культ поэзии. Поэтому и в первый приезд, и сейчас мы включили в программу поэтическую композицию.

Я побывала на всех трех спектаклях, показанных труппой в новом здании МХАТа. На всех был прекрасный прием. Но на поэтическом — какой-то совсем уж особенный. Может быть, отчасти потому, что шел он без перевода и в зале собрались в основном знающие французский язык. Но еще и потому, что это была не просто демонстрация исполнительского мастерства, а разговор о смысле жизни, который просто, скромно, часто с юмором, порой с грустью вели двое настоящих актеров. В конце на них буквально пролился дождь из цветов. Когда цветы уже не умещались у них в руках, Барро вышел на авансцену и, движением головы «потушив» аплодисменты, сказал: «Спасибо. Позвольте нам завтра утром отнести этот букет на могилу Чехова».

— Преклоняюсь перед Чеховым. Ставя его, читая и перечитывая, испытываю безмерную благодарность за его всепобеждающую веру в человека, умение, несмотря на горечь, вдохнуть в тебя надежду... О ней, о надежде, светящей нам с Мадлен и в шторм, и в ясную погоду, наш новый, показанный советским зрителям поэтический спектакль-дуэт «Дарованная жизнь». Мы прочертили траекторию дарованной нам жизни с помощью любимых поэтов, утверждающих любовь к людям и невозможность полного счастья без самоотверженного служения им.

«Траектория», по которой мы совершаем нашу прогулку по Москве, вот-вот снова подведет нас к гостинице. На прощанье желаю Барро и всей его труппе новых успехов в обретенной наконец постоянной гавани д'Орсэ. Он усмехается:

— Постоянной? А известно ли вам, что существует проект сноса вокзала и постройки на его месте высоченной гостиницы? Так что еще неизвестно, какие плавания нас ждут впереди!



Давно это уже было... Помните у «Битлз» такую милую песенку «Когда мне будет 64...»! Речь там шла о брачном объявлении, в котором молодой человек спрашивал неизвестную ему нареченную: «А будешь ли ты меня любить, когда мне будет 64!», «А нужен ли я тебе буду, когда мне будет 64!» А далее потенциальный жених, не скрывая усмешки, иронии, спрашивал: «Неужто мы будем жить «как люди»!» Смешно это было даже спрашивать: в шестьдесят четыре! жить «как все люди!», как обыкновенные, скучные люди! Фантастика!

Давно это уже было...

Прошло шесть лет, как распался ансамбль «Битлз», но образ его — коллективный портрет ироничной, страстной, гордой и сопротивляющейся юности, пожалуй, остался. И у тех, кто слушал их в пору расцвета, и у тех, кто слушает сейчас. Но портрет портретом и образ образом, а что ж они сами и каковы они сами, когда им... Нет, еще не 64.

Вот Поль Маккартни — ему только 33 или, если угодно, уже 33, но самое главное в ином — он уже устроил жизнь «как у людей». Точнее, как у уважающего себя, свой мир и свое положение в нем буржуа. От прежнего Маккартни — того, что из «Битлз», осталось только щекочущее душу воспоминание о прошедшей славе, о привычной сценической удаче. Разумеется, остался и талант, но он коварная штука — ему подавай прежнюю душу, ту, которая с усмешкой спрашивала у будущего: «Неужели мы будем жить «как люди»!..»

О сегодняшнем Поле Маккартни — очерк английского журналиста, который мы перепечатываем из журнала «Нью Мьюзикл Экспресс».



РАЗГОВОР С «БОГАМИ»

Чарльз Шаар МЮРРЕЙ,
английский журналист

Венера и Марс закусывают. «Сэндвичи, дорогой?» Да-с, сэндвичи, того малость, а ведь совсем недавно кухарка уложила на треугольнички белого хлеба треугольнички царственной, истекающей жиром лососины, но получасовое пребывание на солнцепеке превратило их в жуткие скрученные листочки. Вино теплое и чуть кисловато, но это волнует Венеру и Марса куда меньше, чем тяжелая судьба лососевых сэндвичей. Попричитав и поохав — что поделаешь, если в доме бестолковщина? — Венера и Марс все же заглатывают эту горлодерную смесь, давясь и запивая теплым и каким-то пыльным (да простят мне педанты сей эпитет) кофе.

Боги закусывают, а за высокой белой дверью их ждет компания земных ребят-журналистов, явившихся к Венере и Марсу, чтобы взять интервью об их новом диске, который так и называется — «Венера и Марс». Журналистов разморило под ярким предвечерним солнцем, и они лениво зубоскалят по поводу слышной из-за двери перебранки олимпийцев — хозяев дома, по документам — Линды и Поля Маккартни.

Ну им-то что, зададут дежурные вопросы — и ладно, а передо мной редакция поставила задачу потруднее: выяснить, что же случилось с Маккартни, ибо, по нашему общему редакционному мнению, новый альбом Одного Из Бывших «Битлз» попросту ужасен.

Итак, о чем я скажу? Я скажу о разочаровании, но сначала о радостном, это из-за предыдущего альбома «Оркестр в движении». Я скажу, что «Оркестр в движении» перевернул сложившееся после распада ансамбля представление о вас, мистер Маккартни, как об обладателе «законченного буржуазного таланта». В это определение включалось и ваше отрицание современной, «мыслящей» рок-музыки, и ваша обаятельная смазливость, и легкотекучесть ваших композиций — легкость, грозящая перейти в бессмысленную композиторскую бойкость, с какой иные профессионалы одинаково профессионально пишут и для «пап-мам», и для их осатаневших от бесцельной юности детей. Что все это никуда не годилось в сравнении с яростной честностью Джона Леннона, строгой духовностью Джорджа Харрисона и даже с флегматичным шармом Ринго Старра. Вы были похожи на хорошенького первого ученика-ябеду. Вы были брюзгой и нечестивцем, затаскавшим святое имя «Битлз» по судам. Вот кем вы были.

А тут еще эта Линда! Ее просто распирает от желания быть рок-звездой и женой рок-бога. Да, женились вы, Поль, неудачно — для одного из «Битлз», конечно (и этого я вам, несомненно, не скажу. Это к сведению читателей).

Джон Леннон — тот вообще все делает правильно — взял себе в жены японку, на несколько лет старше, страшненькую, умную философиню, и хоть никто не понимает, о чем она там философствует, доверия к ней поэтому больше.

А эта! Американочка-блондиночка, из тех, кто в белых гетрах гарцует в традиционном шествии перед началом школьного баскетбольного матча. И папаша у

нее тоже ничего, Истман — тот самый, что «Истман-Кодак» (правда, прежде его фамилия звучала как Эпштейн — ха-ха, ирония судьбы!)[1].

О Ленноне говорили резко и интересно, о Маккартни говорили всего лишь ехидно. На него не сердились, на него злились. Леннон был и остался несгибаемым радикалом. Маккартни был — что ж, хотя он и был, впрочем неумышленно, одним из отцов «молодежной революции», он даже не стал дожидаться ее заката и, верный своим буржуазным наклонностям, дезертировал в тихую гавань домашних забот.

И все же, и все же...

Он написал «Отдайте Ирландию ирландцам», и песню эту Би-Би-Си запретило передавать. Он создал «Уингз» («Крылья». — *Прим. пер.)* — сейчас, пожалуй, одну из лучших по профессионализму групп в Англии.

Поначалу в «Уингз» входили, помимо супругов Маккартни, гитаристы Денни Лейн и Гарри Маккалаф и ударник Денни Сейвелл. В этом составе они выпустили диск «Спидвей Красная Роза», который вполне соответствовал конъюнктуре, но гениальным его явно не назовешь.

Публика привычно восхищалась Маккартни, ни о чем не задумывалась. И вдруг — «Оркестр в движении».

Эта пластинка продемонстрировала всю мощь Поля Маккартни послебитловского периода. Стало ясно, что он значим сам по себе, а не только в составе «Битлз», что он великолепный мелодист, несравненный аранжировщик, достаточно тонкий поэт... Короче, критики (в том числе и ваш покорный слуга) назвали диск настоящей мастерской работой.

Опять же к сведению читателей: в это время Джон Леннон был по горло занят политикой и своим мятущимся «я»; Джордж Харрисон убеждал слушателей написанными в индийских традициях призывами к коллективному очищению через самосожжение. Ринго был поглощен ролью миротворца и друга своих друзей... И тут обыкновенный буржуазный «Макка» выпускает блестящий, умный и резкий альбом.

Маккартни снова стал героем наших дней. Мы обрадовались. Мы ждали нового.

Нет ничего странного, что после такой упорной и вдохновенной работы Поль некоторое время двигался по инерции: сделал несколько «хи́товых» вещей на основе «Оркестра в движении», заработал денег и вел жизнь, не лишенную приятности; пригласил в группу нового ударника Джо Инглиша и гитариста Джимми Маккаллоча (не путать с Генри Маккалафом), и вел жизнь, не лишенную приятности; записал пару симпатичных, но скучных песенок со своим братом Майком, и вел жизнь, не лишенную приятности; записал пару симпатичных, но скучных песенок с новым составом «Уингз», и вел жизнь, не лишенную приятности; наконец, с помпой отправился в Нью-Орлеан — работать над новым альбомом, и в Нью-Орлеане вел жизнь, не лишенную приятности. Альбом вышел.

«Венера и Марс» не только один из худших альбомов, который записал когда-либо и кто-либо из так называемых «Ведущих Артистов». Он не только худший. Он отъявленно декадентский. Здесь я должен объяснить, что я разумею под словом «декадентский».

Под «декадентством» — упадничеством — мы привыкли понимать всякие штучки, связанные с патологическим восприятием жизни — наркотики, разные там извращения, выкрашенные гривы мужчин в розовых пиджачках и прочее. Так вот, все это не декаданс — это попросту идиотизм. «Венера и Марс» есть признак настоящего, глубокого упадка — потому что это вещь, написанная потрясающе талантливым человеком потрясающе бездарно. Это и есть декаданс. Альбом бесчестен, потому что он лишен правдивости — правдивой красоты, правдивой наивности и правдивой силы; взамен этих качеств предлагается всего лишь вялая, мелкая милота.

Никто ведь не будет в претензии, если еще одна бездарь запустит в мир еще одной нелепостью. Наш привыкший к глупостям мир выдержит. Но вот талант (а Маккартни — талант) на это права не имеет. Ибо это предательство.

Поймите меня правильно: я не собираюсь ставить в строку Полю Маккартни его приверженность идеалам среднего класса в жизни и музыке. Я не собираюсь винить его за то, что он пишет по большей части легкие, нарочито невинные песенки. Он делает это мастерски. Да и очарование ранних «Битлз» было в их наивной радости жизни.

В чем я обвиняю Маккартни — в том, что он сознательно и умышленно пытается добиться *эффекта* невинности, создавая пустячную музыку, в которой истинная сладость заменена сладостью сахариновой, невежество подается как неискушенность, а милота заменила красоту. Я обвиняю его в том, что ему лень использовать свой талант, лень выходить за рамки пустого изящества. Ибо счастье и несчастье таланта в том, что он должен быть использован на полную катушку. Или никак.

Итак, я сижу в оффисе Поля Маккартни, ворошу старые журналы, думаю о погоде, о счете за телефонные разговоры, об ужине — о чем угодно, только не о том, что мне говорить Венере и Марсу, когда они наконец появятся, и стоит ли мне сразу же объяснить Полю, что меня раздражает его новый альбом (а из-за альбома — и он сам), и как мне это сказать.

Это нелегко сказать своим дорогим согражданам, потому что я был такой же битломан, как и они, я так же выстаивал когда-то часами за билетами на «Ночь после трудного дня», я так же когда-то экономил по два месяца на школьных завтраках, чтобы купить очередной альбом. Мать так же таскала меня за длинные патлы, и девушка, которую я любил, так же давилась мучительными ночными слезами от того, что любила она Поля Маккартни, и так же, как многие девушки, носила на безымянном пальце серебряное колечко одинокого обручения со своей любовью. И я прощал ее, я верил в Поля, он был достойнее меня.

Меня просто трясет от волнения. Но ведь имеет же право журналист на собственное мнение! Эта сентенция меня немного успокаивает.

Наконец он и Линда выходят, здороваются, отвечают на дежурные вопросы, и мы отправляемся в соседнюю комнату готовить интервью. Я — брать, он — давать. Или наоборот. Он — давать, я — брать.

Фотографы на эту встречу не допущены — Линда поручила пресс-агенту группы распространить по всем музыкальным редакциям заявление, что она сделала недавно несколько отличных снимков группы и что фоторепортерам не стоит пока беспокоиться. (Линде, конечно, и в голову не пришел другой вариант — выслать снимки редакторам, и пусть бы ее снимки победили в честном соревновании с другими работами.) Итак, запрет на съемки наложен, и каждый, кто захочет опубликовать фото «Уингз», должен идти на поклон к Линде. Браво, «Истман-Кодак»!

Маккартни берет предложенную сигарету, отрывает фильтр, прикуривает. После того как он проделывает эту операцию несколько раз, я автоматически начинаю сам отрывать фильтр, предлагая ему закурить.

Как раз на этой неделе поверенные всех четырех «Битлз» уладили наконец раздел их совместной фирмы звукозаписи «Эппл». И вот, не найдя ничего более удачного для начала разговора, я спрашиваю, не испытывает ли он грусти по поводу крушения этого символа нашей общей ушедшей юности.

— Нет, нет, потому что «Эппл» перестал функционировать еще пару лет назад и мы просто должны были окончательно решить наши общие дела, понятно? Так что это всего лишь официальное закрытие, ну как, например, если бы я записал пластинку еще три года назад, а она вышла сейчас, понятно?

Я автоматически отмечаю про себя эти «понятно», а Поль продолжает:

— Да, и поскольку концерн не работает, нет смысла сохранять его и дальше, понятно? Значит, никакой грусти я не испытываю. Единственное, отчего мне не здо́рово, это от того, что отношения между нами могли бы быть получше. Ну, мы, конечно, по-прежнему друзья и все прочее, понятно? Это все пресса шумела, да Джон сделал несколько рисковых заявлений. Но все мы по-прежнему друзья. Поэтому никакой грусти по поводу «Эппл» я не испытываю. Тем более что теперь всем стало ясно, что мы и по отдельности что-то значим. Не только квартетом.

Мы еще минут пять болтаем о делах прежних, но светский разговор не может продолжаться до бесконечности, рано или поздно я должен буду спросить его о «Венере и Марсе». Я считаю до десяти, складываю руки рупором и задаю Вопрос:

— Э-э-э, теперь уместно будет спросить о «Венере и Марсе»...

— Это мой новый альбом.

Чертовски умно.

— Это мой новый альбом, и скоро он поступит в продажу. Что вы хотите узнать о нем?

Роскошный удар. Все, что я могу сказать, — это «роскошный удар». Следите, ребята, за его левой — в ней спрятана бритва.

— Мне кажется, что он сделан несколько более облегченно, что ли, чем ваш предыдущий диск.

— Да-а-а?

Так, попытаюсь опять. Я жду от него самооценок, тогда я смогу выложить ему весь свой подготовленный спич.

---

[1] *«Истман-Кодак» — крупнейшая американская фирма по производству фотоаппаратуры; «Эпштейн» — такая же фамилия была у Брайана Эпштейна, первого импресарио «Битлз». (Прим. ред.)*

— Мне кажется, он менее энергичен и не столь смел, как «Оркестр в движении».

Но он и не думает спасать меня.

— Вы ведь сами знаете, многое зависит от вкуса, одному нравится, другому — нет, понятно? Я отвез пробные записи в Ливерпуль, дал послушать коекому, и мне сказали, что очень здорово. Они сказали: «О парень, ты давно так не пел. Это очень энергичная и смелая вещичка». Я и сам не думаю, что он прост...

— Но «Оркестр в движении» был заставляющей думать, по-настоящему интересной пластинкой, в то время как этот ну просто легкое слушание.

— Может быть, может быть, что-то вышло простовато. Но вот «Позови меня вновь» легким слушанием не назовешь.

— Совершенно верно, слушать эту песню просто невозможно. А «Рок-Шоу», по мне, слишком похожа на то, что делают и другие — Дэвид Эссекс, например, — я решил начать агрессию.

— «Рок-Шоу»?! Господи, боже мой! И кого это «Нью Мьюзикл Экспресс» берет на работу, леди и джентльмены, — завопил Маккартни прямо в мой диктофон, — он же ни черта не понимает!

Ну вот, вляпался, как я теперь эту пленку редактору покажу? Ладно, раз начал, надо продолжать.

— Мне кажется, в этом альбоме вы хотели спародировать некоторых исполнителей. Вы что, задумали его как сатирический?

— Пародия? Да я и не думал никого пародировать! Я не люблю сатиру.

Как это не любит? Да ведь «Оркестр в движении» был именно сатирической пластинкой, неужели он сам этого не понимает?

— Ничего удивительного, что в моих вещах что-то вам напомнило Дэвида Эссекса или еще кого-нибудь. Идеи ведь носятся в воздухе, понятно?

Понятно, все мне понятно, я ничего от него не добьюсь. Решаю пустить разговор на самотек. Разговор блуждает по комнате, нелепо тычется в стены, мы говорим о предстоящих гастролях «Уингз», об английском турне, наконец, разговор упирается в тему, вроде бы интересную Маккартни — о музыкальных передачах Британского радио. Точка зрения Маккартни: они могут быть гораздо хуже, равно как и гораздо лучше.

— Возьмем, к примеру, «Бэй Сити Роллерз» — их сейчас по всем программам гонят. Ничего особенного, конечно, так, группа для детишек. Но я не собираюсь навязывать молодым свои вкусы. Это как у меня было — отец говорил, что лучше оперных теноров никого на свете нет. А мне нравился Элвис Пресли. Я не настолько глуп, чтобы говорить, что «Бэй Сити Роллерз» или «Осмондз» никуда не годятся — они вполне хороши для определенного состава слушателей. К тому же — вот маленькая Мери увидела Донни Осмонда по телевизору, влюбилась и говорит папе: «Папочка, ведь он любит меня, он же для меня пел, правда?» Так говорят все маленькие девочки, и для певцов это всегда было одним из секретов успеха — для того же Пресли, да и для «Битлз». Понятно? А если отмести такую игру, пропадет половина того, что создает современную музыкальную сцену.

— Да, но ведь артист не должен ориентироваться на глупенькую маленькую Мери у телевизора?



Поль пропускает мимо ушей мой вопрос и углубляется в практику составления «таблиц популярности». Смысл его высказываний столь же принципиален, как в предыдущем случае: в «Таблицах» могло бы быть меньше чепухи, а могло бы быть и больше. Я начинаю злиться: как ловко он уворачивается. Или, может, это я плохой ловец? Надо принимать строгие меры. И я спрашиваю:

— Скажите, а какие события последнего времени волнуют вас больше всего?

Мистер Маккартни задумывается. Мистер Маккартни хмурит брови. Время, кажется, почтительно останавливается. Комната замерзает от тишины.

Поль начинает говорить нерешительно:

— Я не знаю. Я не думал об этом. Хотя... Впрочем, я не думал о чем-то в особенности. Сейчас у меня хорошее время. Правда, что-то, конечно, раздражает. Даже не раздражает, а так, какая-то неуместность есть — вроде бы как молочник не приходил три дня подряд... Нет, что-то все-таки происходит, я сейчас, я скажу...

В этот момент дверь взрывается, и в комнату влетает Линда. Маккартни спрашивает ее, что его волнует в последнее время. Ответ готов: «Общий рынок». Это раз. Британское телевидение. Британское радио. Британские налоги — эти идиоты своими налогами выгонят из страны всех знаменитостей...»

— Да, да, — вступает Маккартни.

Линда мгновенно погружается в молчание. Она демонстрирует мне, кто в доме хозяин. Маккартни произносит короткую речь по поводу «Общего рынка»:

— Мы не любим «Общий рынок». Я не люблю «Общий рынок».

— Я не люблю «Общий рынок», — вторит Линда.

— Линда тоже не любит «Общий рынок», — поясняет мне Маккартни, — а по поводу налогов — в нынешних условиях трудно жить тем, кто может заработать много, — Элтон Джон, Род Стюарт, я сам... Нам трудно. Мы зарабатываем фунт, а правительство удерживает из него девяносто восемь пенсов, вот мне и приходится лезть из кожи, чтобы заработать два, и так далее. И это...

— И это деморализует, — пищит Линда.

— Да, это деморализует. — Поль ни за что не желает оставить за женой последнее слово.

— Да, но ведь вы получили американскую визу, могли бы спокойно оставить Англию.

— Ни за что! Я живу в Англии и буду здесь жить. Мне нравится это место.

— Я никогда не уеду из-за денег, — вмешивается Линда. — Я никогда не изменю жизнь из-за денег. Если мне нравится место, я не уеду из-за денег. К тому же...

— К тому же... — Поль пытается перекричать жену.

Они вместе что-то орут, наконец ему это удается:

— К тому же — вот, например, приезжаешь в Нэшвилл, и на́ тебе — каждые полчаса по радио сообщают о надвигающемся урагане. Или в Лос-Анджелесе — то и дело жди землетрясения. По крайней мере, в доброй, старой Англии ни ураганов, ни землетрясений не бывает. Именно поэтому нам не надо было вступать в «Общий рынок».

Объяснение интересное, но непонятное.

— И вообще, когда я возвращаюсь сюда из Америки, я всегда вижу, что англичане — они не подведут. Они стойкие. Я люблю англичан (быстрый взгляд на Линду), американцев я тоже люблю, но предпочитаю...

Этого Линда снести не может:

— Но американцы — тоже настоящие парни. Они настоящие, настоящие, настоя...

— ...щие, — соглашается Поль. Мир в семье установлен. — И все же Англия — это Англия, и Британия — это Британия, и я люблю эту страну, я люблю идти по улице в солнечный день — ну вот как сейчас — и знать, что люди вокруг такие же, как я... Только правительство...

Ага, может быть, здесь я выужу из него что-нибудь интересное?

— Ну и что правительство?

Тут Поль и Линда опять начинают кричать что-то одновременно, фраза Линды вырывается вперед:

— ...курят сигары и изображают из себя, ну прямо как...

Поль:

— ...как судьи в каком-то суде, где судят весь народ. Нам нужны в правительстве люди из народа.

Линда:

— Как Авраам Лин...

Поль:

— Нет, люди из народа. У них гораздо больше здравого смысла. Они больше думают о ценности жизни...

Линда:

— О качестве жизни, о том, как дать людям возможность радоваться ей.

Поль:

— Потому что это единственный верный способ заставить людей работать — научить их радоваться жизни. И вообще, надо сказать людям — кончайте со своими фабриками, возвращайтесь назад на поля, растите хлеб, потому что наша планета скоро будет голодать.

Линда:

— Простые люди это понимают, а вот правительства нет. У простых людей больше здравого смысла.

Не знаю, я вроде бы простой человек, но я как-то не желаю возвращаться назад, к сохе, да и смысла не вижу. Неужто у вас в голове, мистер Маккартни, такая путаница? Мне очень не хочется так думать.

Линда и Поль, размахивая руками, перекрикивают друг друга, вылетают «правительства», «свободные земли», «абсурд», «накормить всех», в общем, домашняя аграрная программа. Мне это уже неинтересно. Я отключаюсь. Интервью провалилось. Я пришел к нему в растерянности и злобе. Злость — плохой советчик, и я упустил разговор. «Слишком хорошенький» Поль Маккартни оказался умнее.

Что ж, Поль, что бы там ни было — мне очень хочется верить в вас. Друзья, вспомните вашу битловскую юность и посочувствуйте мне.

Перевела с английского Н. РУДНИЦКАЯ



ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ НА ТЕМЗЕ

«Издали он напоминает современный авианосец, врезавшийся в старинный замок» — так описывает журнал «Экономист» внешний вид нового здания английского Национального театра. Недавно артисты театра справили новоселье в одном из трех его новых залов постановкой «Гамлета» с Альбертом Финни в главной роли. Но два других зала, в том числе самый крупный, «Оливье», названный в честь выдающегося режиссера, актера и первого директора Национального театра Лоуренса Оливье, все еще достраиваются — и это спустя 25 лет после того, как королева Елизавета заложила первый камень в его фундамент. Но что поделаешь — денег нет даже на театр, который во всем мире признан лучшим английским театром. А тут еще критики ворчат — есть-де угроза, что Национальный, как огромный «пылесос», вберет в себя всех талантливых актеров. Но Питер Холл, главный режиссер театра, на счету которого 70 успешных постановок, возражает: «Чем большее значение будет иметь Национальный в жизни страны, тем больше новых актеров и театров будет появляться в Англии». В новом сезоне Холл, в частности, планирует поставить новое произведение Джона Осборна (советские зрители знают его пьесу «Оглянись во гневе») «Смотри, он идет вниз». На снимке вы видите репетицию одной из сцен этой пьесы.

РИСКОВАННАЯ ИГРА С СИЛОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ

В одном из альпийских городков Швейцарии живет Хайни Хольцер, тридцати одного года, 1 метра 58 сантиметров роста, 52 килограммов веса. По профессии — трубочист. Как видите, «выходные данные» вполне подходящи для такой профессии.

Но не этим прославился Хайни Хольцер. Раз в неделю он отдается своему хобби. Как раз этот момент и запечатлен на снимке. Раз в неделю Хайни надевает тяжелые горные ботинки с шипами, берет в руки ледоруб, приторачивает к рюкзаку длинные лыжи (1 метр 70 сантиметров) и палки — и марш, марш в горы на четыре с лишним тысячи метров.

Достигнув вершины и передохнув, Хайни надевает лыжи, укладывает в рюкзак альпинистское снаряжение, берет в руки палки — и марш, марш вниз по наклонной плоскости, которая порой становится чуть ли не вертикальной. Тщательно отработанная техника позволяет ему удачно обходить скальные выступы и, главное, избегать обвалов. Пока Хайни Хольцер благополучно спускался в свой городок, где уже на следующий день он чистит трубы...





ЗАПЛЫВ «ВЕЛОМАРОВ»

Несколько лет назад (в № 11 за 1972 год) мы писали о традиции преодолевать пролив Ла-Манш самыми невероятными способами. По сути, это состязание оригиналов-затейников длится уже более ста лет. В каталоге рекордов насчитывается 230 достижений — тут и заплыв на дрессированном тюлене, запряженном в гладильную доску, и марш-бросок в кровати с балдахином, оснащенной мотором. В минувшем сезоне четверо французов одолели пролив на «веломарах» — велосипедах, на колеса которых надеты слабо надутые автомобильные шины, а в движение они приводятся лопастями; 33 километра донкихоты ламаншские преодолели за 12 часов интенсивного педалирования.

ИТОН С МОЛОТКА?

Казалось бы, какие могут быть заботы у этих маленьких итонцев, которых репортер английского юмористического журнала «Панч» заснял за милым занятием — они разучивают песню вместе с дельфинами из местного дельфинария. О будущем им не приходится беспокоиться: папы, которые могут себе позволить платить около 1500 фунтов в год за обучение в этом привилегированном учебном заведении, конечно же, обеспечат им и приличное место в обществе. Но, оказывается, и у знатных отпрысков свои проблемы: какой-то хитроумный американский бизнесмен скупил старые парты в Итоне, вывез их за океан и продал с аукциона помешанным на атрибутах аристократичности жителям Нового Света в сто раз дороже. Удачнее всего шли парты, на которых оставили след — в виде выцарапанных надписей — бывшие английские премьеры и прочие знаменитости. Учитывая огромный спрос на старую английскую мебель в США, администрация Итона планирует, на этот раз сама, распродажу не только оставшихся парт, но и стульев. Без парт итонцы, конечно, не останутся, но известное дело, когда аппетит приходит... Вот итонцы и ждут, что продадут в следующий раз.



ЧУДЕСА. Что ж, людям хочется в них верить. Этим свойством человеческой натуры воспользовался афинский юрист Джордж Каматерос, объявив, что он открыл целительный ручей на острове Кос, и организовал широкую и успешную распродажу воды. Власти попросили химиков сделать ее анализ. Выяснилось, что чудодейственная вода не только не содержала каких-либо целительных веществ, но была обыкновенной афинской водопроводной. История, казалось бы, классическая: мошенник, обманутые, возмездие. Но прогресс есть прогресс — массовой истерии, может быть, и не было бы, если бы за дело не взялись средства массовой информации. Именно газеты в погоне за тиражом начали взбивать пену на воде с острова Кос.

Впрочем, чудо все же состоялось — адвокату, знатоку законов каким-то образом удалось избежать ответственности.

«ЧЕПИ ЧИП» И «СОЛИ, СОЛИ»

А также «Оле-лей» и «Твидл Ди, Твидл Дам» — то ли заклинания какого-то племени, то ли считалочка детская... А вот любителям шотландского ансамбля «Миддл ов зе Роуд» — «Середина дороги» слова эти понятны и даже дороги — так называются самые популярные песенки этой группы. «Середина дороги» — в ансамбль входят братья Ян и Эрик Льюисы (Ян играет на лидер-гитаре, флейте и волынке, Эрик — на бас-гитаре и фортепиано), ударник Кен Эндью и певица Салли Карр — существует уже десять лет. Срок немалый для тех, кто играет в стиле, именуемом на Западе «бабблгам» («bubble gum» — «пенистая жевательная резинка»). Название это не столько легкомысленное, сколько саркастическое, поскольку означает, что слушание подобной музыки есть занятие не более интеллектуальное, чем выдувание пузырей из жевательной резинки. В основе песенок «бабблгам» лежит удачно найденный мелодический и ритмический ход, который повторяется многократно, пока не закрепится в памяти слушающего намертво. «Нам и самим уже начинает надоедать наша музыка, — говорит Ян Льюис. — Мы обдумываем теперь новые пути, хотим писать более сложные вещи. Я понимаю, мы можем утратить прежних слушателей и не приобрести новых — что ж, риск есть риск. Но гораздо опаснее сойти со сцены из-за того, что ты просто надоел своим старым поклонникам».



ОКЕАН — В НАСЛЕДСТВО

В недавнем опросе «Кто самый популярный человек в США» известный французский океанавт Жак-Ив Кусто вошел в первую десятку, опередив кинозвезд и исполнителей поп-музыки, многих политических деятелей и спортсменов. «65-летний капитан Кусто стал идолом молодежи», — пишет журнал «Пари-матч». Причина феномена — в благородстве деятельности Кусто, начавшего широкую кампанию «Сохраним океан для наших детей!». Шесть миллионов экземпляров изданной им «Энциклопедии моря» заняли места в домашних библиотеках; в двух тысячах американских колледжей в учебную программу вошли его лекции и фильмы, снятые под водой. «Если не взять сейчас под охрану океан и его обитателей, то в наследство ближайшим поколениям мы оставим грязевую пустыню, — говорит Кусто. — Бизнесмены слишком заняты, чтобы читать что-либо, кроме финансовых отчетов. Но они не смогут не слушать голосов собственных детей. Поэтому мы обращаемся именно к ним». 145 тысяч американских подростков уже поставили свои подписи под обращением в защиту океана. На снимке: Жак-Ив Кусто выступает перед учениками одной из калифорнийских школ.



РОБИНЗОН И ПЯТНИЦА

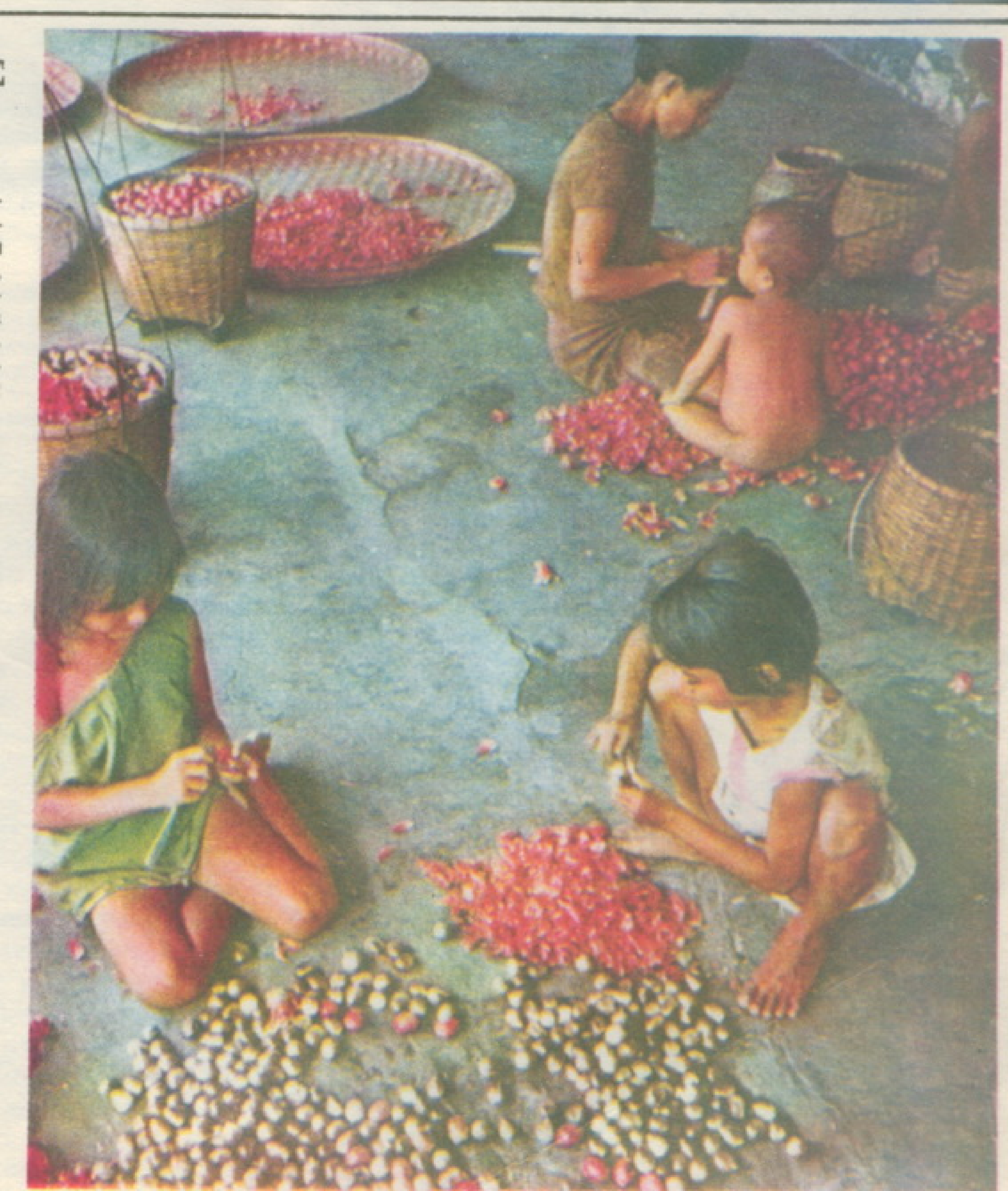
Американский кинорежиссер Джек Голд перевернул привычную последовательность: Пятница и Робинзон. Голд решил показать, как вел бы себя современный расист в условиях, когда и одиночество невыносимо, и разделить его с «дикарем» выше сил. Робинзон находит-таки выход: он решает считать Пятницу рабом. Мало того, он даже решает ехать с Пятницей к его соплеменникам — о, сколько новых и замечательных рабов будет у него в селении Пятницы! Но вот неожиданность — «дикарь» не соглашается. И Робинзон остается на острове, еще более необитаемом, чем до появления Пятницы.

НЕ ЗОЛОТЫЕ, МУСКАТНЫЕ ОРЕХИ

Сейчас трудно поверить, что некогда предметом ненасытной алчности, причиной, толкавшей людей на приключения и далекие плавания, были пряности. Гвоздика, перец, корица, мускатный орех... В Италии в средние века люди, желавшие дать собеседнику представление, как басносновно дорога вещь, говорили: «Она дорога, как перец!»

Этот снимок сделан в наши дни на одном из островов Банда, что лежат на крайнем юге архипелага Молуккских островов. Это в районе между Сулавеси и Новой Гвинеей. В XVIII веке в удобных гаванях первыми здесь высадились голландцы. Они начали с того, с чего начинали все колонизаторы: изгнали местных жителей с мест будущих плантаций мускатного ореха. Продолжение тоже было стандартным: на острова потянулись корабли с рабами и голландцами, прослышавшими о том, что в колониях можно в два счета сколотить состояние. Не многим это, правда, удалось, большинство нашло здесь свою смерть — от тропических болезней, эпидемий, извержений вулкана и просто смертельной тоски по дому. Еще хуже приходилось рабам: законы грозили им смертью за каждое утаенное зерно мускатного ореха, но не от этого они погибали сотнями и тысячами. Их косили невыносимые условия труда и жизни.

Давно нет на островах голландцев, их дома стоят большей частью пустыми и разоренными. Кончился бум пряностей. Нищета и заброшенность — по-прежнему удел местных жителей.



Пьер Паоло Пазолини, прогрессивный итальянский поэт, кинорежиссер и писатель, был убит фашиствующими хулиганами в ноябре 1975 года. В последние месяцы жизни Пазолини работал над фильмом, разоблачавшим итальянский фашизм.



Пьер Паоло ПАЗОЛИНИ

„Самокат"

РАССКАЗ

На поплавке еще почти никого не было, если не считать нескольких продавцов из универмага, но и тем около трех надо было уходить.

Потом со стороны моста Гарибальди и моста Сикста стали стекаться завсегдатаи. А через полчаса на песчаной отмели между валом и поплавком яблоку негде было упасть.

Нандо сидел на качелях, спиной ко мне. Это был мальчик лет десяти, худой, тщедушный, с белесым чубом над заострившейся мордочкой; его большой рот то и дело расплывался в улыбке. Возле уха у него гноился нарыв — то ли свищ, то ли воспалившаяся железа. Он косил глазом в мою сторону, всем своим видом как бы говоря: «подтолкни». Я подошел и сказал:

— Хочешь, раскачаю?

Он задорно закивал головой.

— Смотри, высоко запущу! — предупредил я, улыбаясь.

— Ничего, не сдрейфлю! — ответил он.

Взлетая в воздух, он кричал остальным ребятишкам:

— Эй, вы там, смотрите, как я высоко летаю!

Пять минут спустя он снова сидел на остановившихся качелях. На этот раз он не ограничился одним взглядом, а попросил:

— Эй, чернявый, подтолкни, а?

Накатавшись вдоволь, он подошел ко мне. Я спросил, как его зовут.

— Нандо, — бойко ответил он, прямо глядя мне в глаза.

— А по прозвищу?

Сначала он посмотрел на меня в нерешительности, хмыкнул, покраснел, потом наконец отважился и выпалил:

— Самокат!

Обожженные солнцем плечи его пылали, точно у него был жар.

— Очень щиплет, — признался он.

К этому времени поплавок старика Орацио ходил ходуном: кто поднимал тяжести, кто работал на кольцах; одни переодевались, другие слонялись без дела. Вот первая группа направилась к трамплину, и начались прыжки — головой вниз, солдатиком, сальто.

Я тоже пошел купаться — под Сикстов мост. Полчаса спустя я снова был на песчаной отмели и увидел Нандо: перегнувшись через перила поплавка, он мне кричал:

— Эй, послушай, ты умеешь грести?

— Вроде да, — ответил я.

Тогда Нандо обратился к лодочнику:

— Сколько стоит покататься?

Тот, даже не взглянув в его сторону, словно разговаривал с рекой, над которой склонился, а не с мальчишкой, зло бросил:

— Сто пятьдесят лир в час за двоих.

— Черт побери, вот дерут, — протянул Нандо, не переставая улыбаться, и исчез где-то в глубине раздевалки.

Через минуту он, словно старый приятель, сидел рядом со мной на песке.

— У меня есть сто лир, — сообщил он.

— Значит, ты в порядке. А я на мели, — сказал я.

Он не понял.

— Что значит «на мели»?

— А то, что у меня нет ни гроша, — объяснил я.

— Почему, разве ты не работаешь?

— Нет, не работаю.

— А я думал, работаешь, — разочарованно протянул он.

— Я учусь, — сказал я, чтобы упростить дело.

— А за это не платят?

— Наоборот, я сам должен платить.

— Ты умеешь плавать?

— Я да, а ты?

— У меня не получается. Боязно. Захожу в воду только по сих пор.

— Пошли, купнемся?

Он согласился и поплелся за мной, точно собачонка.

Возле трамплина, заметив, что я вытащил заткнутую за пояс купальную шапочку, он спросил:

— Это как называется?

— Купальная шапочка.

— А сколько она стоит?

— В прошлом году заплатил четыреста лир.

— Красота... — протянул он, натягивая ее на голову. — У нас денег нет, а то бы мама мне купила такую.

— Вы бедно живете?

— Да. В бараке, на улице Казилины.

— А откуда у тебя завелись деньжата?

— Заработал, таскал чемоданы.

— Где?

— На вокзале, — ответил он. Голос его при этом звучал несколько неуверенно: парень наверняка врал. Вероятнее всего, он попрошайничал, потому что вряд ли мог бы поднять тяжелую вещь своими хилыми ручонками.

Я взглянул на гноившийся свищ и мысленно представил себе обстановку, в какой жил мой новый приятель.

Я стянул с него шапочку, потрепал за чуб и спросил:

— А в школу ты ходишь?

— Да. Во второй класс. Мне сейчас двенадцать, я пять лет проболел. А почему ты не купаешься?

— Сейчас пойду.

— Нырни ласточкой! — крикнул он, пока я шел к краю подкидной доски.

Сделав немудрящий прыжок вниз головой, я несколькими взмахами рук подплыл к берегу и взобрался на откос.

— Почему же ты не прыгнул ласточкой? — спросил Нандо.

— Сейчас попытаюсь.

Я никогда не прыгал ласточкой, но ради него решил попробовать. Нандо стоял на берегу, сияя от удовольствия.

— Отличный прыжок! — похвалил он.

В это время мимо проходили мои приятели, и я присоединился к ним. Они сели играть в карты в баре поплавка, я решил посидеть рядом, понаблюдать за игрой.

Нандо появился опять, на этот раз с журналом «Эуропео» в руках.

— На, читай! Это мой, — сказал он.

Чтобы доставить ему удовольствие, я взял журнал, стал перелистывать. Но подошел Орацио, не говоря ни слова, отобрал журнал и, явно поддразнивая меня, сделал вид, будто углубился в чтение. Шутка удалась. Я посмеялся и снова продолжал следить за игрой. Нандо отошел к стойке.

— У меня есть сто лир. Что на них можно купить? — спросил он у хозяина.

— Апельсиновый сок, пиво, лимонад...

Старик был явно лишен воображения.

— Сколько стоит бутылка лимонада? — поинтересовался Нандо.

— Сорок лир.

— Дай мне две!

Кто-то тронул меня за плечо: возле меня стоял Нандо и протягивал мне бутылку лимонада.

Я почувствовал, что у меня подступает ком к горлу. Настолько, что не смог даже сказать спасибо. Я проглотил содержимое бутылки и спросил у Нандо:

— Ты здесь в понедельник или во вторник будешь?

— Да, — ответил он.

— Я приду и покатаю тебя на лодке.

— В понедельник придешь? — переспросил Нандо.

— Точно не знаю. Может быть, в понедельник я как раз буду занят. Но если не в понедельник, то во вторник непременно...

Нандо пересчитывал оставшиеся деньги.

— Осталось двадцать две лиры, — заявил он.

И, уткнувшись своей веселой мордашкой в прейскурант напитков, задумался. Я решил прийти ему на помощь.

— Что можно купить на двадцать две лиры? — приставал он к хозяину.

— Оставь их при себе, — отмахивался тот.

— Взгляни сюда, — посоветовал я, — есть минеральная вода по десять лир за стакан.

— Она теплая, — предупредил хозяин.

— Неважно, пусть теплая, налей два стакана!

Хозяин налил два стакана, Нандо сказал мне:

— Пей!

Он угощал меня уже во второй раз.

— Значит, если ты будешь свободен, придешь во вторник? — спросил он.

— Конечно. Вот увидишь, я перед тобой в долгу не останусь, повеселимся!

Потом Нандо решил еще раз покататься на качелях. Я раскачал его изо всех сил — так, что он, звонко хохоча, взмолился:

— Хватит, у меня башка закружилась!

Наступил вечер. Мы распрощались. Сейчас я с нетерпением жду вторника — хочу доставить Нандо хоть какое-нибудь удовольствие. Я все еще сижу без работы, денег у меня нет, но ведь у него тоже было всего сто лир! Размышляя обо всем этом, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не разреветься.

Перевела с итальянского Ю. ДОБРОВОЛЬСКАЯ



АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР ФРЭНКА БРАУНА

Э. ЧЕРЕПАХОВА

В Англии говорят: «Нет ничего естественней, чем рождение сатирика в смутное для страны время». Фрэнк Браун, будущий карикатурист газеты английских коммунистов «Морнинг стар», не подкачал: он родился в год знаменитой всеобщей забастовки, в самый ее разгар. Его брат Сид догнал его с разрывом в несколько минут, и, как вспоминают родственники, двойняшки заорали, увидев мир, так громко и протестующе, как могут кричать только кокни из Ист-Энда. И их крики — из открытых по весне окон — вплелись в грозный шум рабочих демонстраций 1926 года, где в колоннах безработных шел их отец — механик, уволенный со станкостроительного завода.

Детство Фрэнка и Сида проходило в типичных ист-эндовских «сламз» — в районе, где было множество домов, годных лишь на слом и все же обитаемых. Но даже в таком доме Брауны с их шестью детьми смогли снять только подвальное помещение. «Ну и шумно было у нас, зато весело, — говорит Фрэнк. — Весельем, конечно, не заменишь молоко, хлеб или мясо. И все же мы научились смеяться над горестями, а потом — заставлять смеяться других».

Карьера карикатуриста началась для Фрэнка в армии — смешил на досуге товарищей «картýнами» — сериями маленьких рисунков на темы солдатского житья-бытья. Он подписывал эти рисунки теперь популярным в Англии именем «Экклз» — в звучании его было что-то забавное, нелепое. Рисунки имели такой безусловный успех у товарищей, что псевдоним «Экклз» Фрэнк Браун сохранил на всю жизнь, как талисман.

Вообще-то Фрэнк мечтал стать архитектором, строить большие и дешевые дома. И ему удалось закончить политехнический институт, совмещая занятия с партийной работой (в партию он вступил в 16 лет — выглядел старше, и его приняли).

Диплом архитектора он получил, но о каких больших и дешевых домах может идти речь во время инфляции... Тогда он сделал рокировку — поменял местами профессию и хобби. Архитектурой Фрэнк теперь занимается в свободное время, и в весьма своеобразной форме: люди из рабочих районов просят его помощи при перепланировке домов — стандартный английский дом с квартирой на двух этажах им не по карману, его приходится переделывать в несколько тесных квартирок для нескольких семей. Он и сам живет в рабочем районе — в северном Лондоне.

Фрэнк Браун-«Экклз» — секретарь Ассоциации английских карикатуристов. Коллеги из буржуазных газет не могут не вступать с ним в споры, но он и у них пользуется неизменным уважением как общественный деятель и как профессионал. (Кстати, его карикатуры были выставлены в 1974 году среди лучших работ этого жанра в знаменитой Национальной галерее.)

В этом месте я хочу прервать свой рассказ о Фрэнке Брауне, потому что дальше, мне кажется, для читателя интересней услышать кое-какие соображения самого Фрэнка, приведенные дословно, так, как они были высказаны им во время интервью.

— Что вы думаете об «английском юморе»? Существует ли в наши дни такое понятие?

— Вне сомнения, английский юмор — такое же особенное явление, как английская погода. Важная его черта — умение англичанина посмеяться над самим собой и внести в каждую шутку изрядную дозу пусть грубоватого, но озорства. Он весьма отличен от американского юмора, который мы зовем «запеканкой с горчицей» — довольно тяжелое для пищеварения блюдо. Вам не попадалась книжка Энн Морлей «Куриные шутки»? Одна ее байка начинается так: «Купите живую курицу на рынке. Если она плохо ведет себя, когда вы возвращаетесь с ней домой, дайте ей по уху как следует, и она пойдет за вами повсюду» и т. д. и т. п. Вот вам типичный американский юмор. Немецкий юмор я считаю «медленным». Он напоминает мне человека, который упорно и бесконечно разъясняет слушателю, в чем соль удачного французского анекдота. Итальянский юмор подобен свеженалитому шампанскому — искрится, пенится и... хватает через край. Знаете, по умению заметить и высмеять собственные недостатки, я считаю, английский юмор ближе всего к русскому.

— А как вы находите темы своих карикатур?

— О, иногда их подсказывают письма, иногда звонки — наши читатели сами хотят видеть какое-то совершенно конкретное явление, представленное в наглядной форме. Есть, впрочем, и другие способы. Самая первая вещь, которую я делаю поутру, — поворачиваю ручку радио. Новости в Англии. Новости в мире... Я быстро набрасываю по ходу передачи «прейскурант», располагаю новости по степени важности. Вот гляньте хотя бы на этот лист. Видите надписи: «Хили (министр финансов) и профсоюзы» — это в связи с его попыткой заморозить прибавку к зарплате рабочим, несмотря на растущую дороговизну. «Тонущий фунт» — это о жалком состоянии фунта на мировой бирже. Подобными листами завален мой дом и моя комнатка в редакции. Это мои «рычаги», с помощью которых я стараюсь перевернуть реальной стороной новости со всем их механизмом, который чаще всего скрывает и затушевывает буржуазная пресса. Вот тогда и появляются карикатуры, с которыми вы, возможно, уже знакомы по «Морнинг стар»: два англичанина смотрят на торговые ценники ошарашенным взглядом. Вместо цифр на них только слово «up», цены растут. У нас есть шутка: «Покупайте продукты по дороге на работу, на обратном пути они будут стоить дороже».

Иногда я даю не карикатуры-комментарии, а карикатуры-реплики. Скажем, когда в парламенте обсуждался проект обязательных в автомобилях привязных ремней, я дал такую карикатуру — рабочий привязан к станку приводными ремнями, буквально приклепан к нему. И подпись: «Это новый тип привязных ремней. Шеф снимает их с нас ровно в 5.30».

За 25 лет на своем посту я сделал не менее 20 тысяч карикатур. Много? Так мне брат Сид помогает — он тоже коммунист, тоже художник. Правда, он по большей части делает политические плакаты.

И все же я и сам сейчас подумал — 20 тысяч тем для высмеивания — ну и веселая жизнь...

Лондон

Главный редактор А. А. НОДИЯ

Редакционная коллегия: В. Л. АРТЕМОВ, С. М. ГОЛЯКОВ, И. В. ГОРЕЛОВ (зам. главного редактора), О. А. ГОРЧАКОВ, В. В. ГРИГОРЬЕВ, М. А. ДРОБЫШЕВ, В. П. МОШНЯГА, Б. А. СЕНЬКИН

Художественный редактор О. С. Александрова
Оформление М. М. Ракитнина
Технический редактор В. Н. Савельева

Адрес редакции: Москва, 103104, Спиридоньевский пер., 5. Телефон 290-36-55. Рукописи не возвращаются.
Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на журнал.

Сдано в набор 17/VI 1976 г. Подп. к печ. 3/VIII 1976 г. А04979. Формат 60×90 1/8. Печ. л. 3 (усл. 3). Уч.-изд. л. 5,2.
Тираж 470 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 1089.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

РИСУНКИ ФРЭНКА БРАУНА

(СТАТЬЮ О НЕМ ЧИТАЙТЕ НА III СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ)

1. Нам, видно, придется с вами расстаться, Смит, — мы проверили ваш диплом, у вас довольно средние отметки по физике. (Надпись на тележке мусорщика: «Муниципальная служба».)

2. На бирже: «Так на что мы будем ставить сегодня: на фунт стерлингов или на фунт картошки!»

3. Давайте заглянем к этому экономисту — интересно, что он думает о завтрашнем дне нашей экономики!

4. Это новый тип привязных ремней. Шеф снимает их с нас ровно в 5.30.

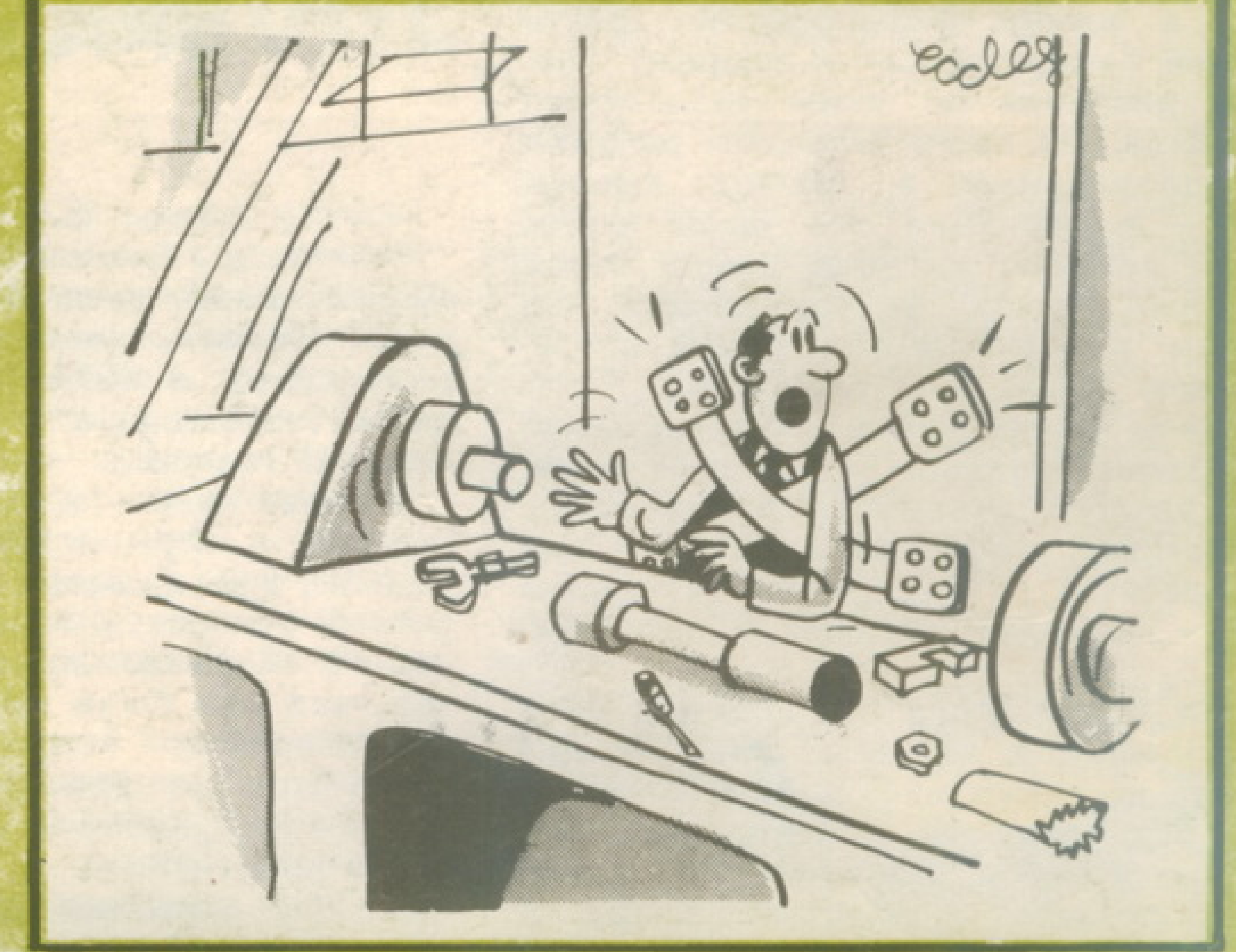
5. Не понимаю, почему они называют это «плавающий фунт». По мне, так он просто тонущий.



3.



1.



4.



2.



5.

Цена 20 коп.
Индекс 70781